

The background of the entire cover is filled with numerous thick, expressive yellow brushstrokes. These strokes are of varying lengths and directions, creating a sense of movement and texture. Some strokes are horizontal, while others are diagonal or curved, resembling waves or flames. The overall effect is a vibrant, hand-painted aesthetic.

МАРКУС ЗУСАК

ГЛИНЯНЫЙ МОСТ

От автора международного бестселлера
«Книжный вор»

Маркус Зусак

Глиняный мост

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.111-312.4(94)
ББК 84(8Авс)-44

Зусак М.

Глиняный мост / М. Зусак — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-103799-4

Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе своего дома – без родителей. Пока однажды вдруг не вернулся отец, который когда-то их оставил. У него странная просьба – он хочет, чтобы сыновья согласились построить с ним мост. Откликается Клэй, мальчик, терзаемый давней тайной. Что случилось с ним в прошлом? И почему он должен принять этот вызов? «Глиняный мост» – история подростка, попавшего в водоворот взрослой жизни и готового разрушить все, чтобы стать тем, кем ему нужно стать. Перед ним – только мост, образ, который спасет его семью и его самого. Это будет чудо.

УДК 821.111-312.4(94)
ББК 84(8Авс)-44

ISBN 978-5-04-103799-4

© Зусак М., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Перед началом. Древняя пишмашинка	6
Часть первая. Города	10
Портрет убийцы в образе мужчины средних лет	10
Разминка путь Клэя	14
Дикари	18
Бернборо	20
Попался грекам	22
Человек-гиря	25
Сигнальный дым	28
Идиоты	29
Платок факира	32
Улыбака	33
Музыка убийцы	36
Как ураган	37
Часть вторая. Города+воды	40
Девочка-сбивашка	40
Окружность	46
Она проплакала до самой Вены	48
Демонстрация силы	51
Деньрожденница	56
С убийцей в кармане	60
Бумажные дома	62
Блага свободы	67
Кэри и Клэй и Матадор в пятой	69
Смерть на склоне дня	74
Мост Клэя	75
Грузчики	77
Последний салют	80
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Маркус Зусак

Глиняный мост

Markus Zusak
Bridge of Clay

© Мезин Н., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

*Посвящается Скаут, Киду, Мелкой Малышке, посвящается Кейт,
и с любовью – памяти К.Е.: великой ценительницы языка¹.*

¹ Переводчик глубоко признателен всем, кто помогал разобраться в конноспортивном дискурсе, природных и бытовых реалиях Австралии и парадоксальном языке и образном строе Маркуса Зусака. Особо благодарю Юлию Гайдукову, Ирину Козыревич, Дмитрия Манина, Марию Крижановскую и Андрея Шевелёва. Без их помощи ляпов в этом переводе было бы гораздо больше, а те, что все же проскочили в текст, – целиком на моей совести.

Перед началом. Древняя пишмашинка

В начале был один убийца, один мул и один пацан, но это еще не начало, это еще до него, это я, я – Мэтью, я здесь, на кухне, ночью – в полужареном речном устье электрического света – стучу и стучу по клавишам. В доме вокруг меня тишина.

Ну да, остальные спят.

Я у стола.

Я и пишущая машинка – я и древняя пишмашинка, как называла ее, по словам нашего давно потерянного отца, наша давно потерянная бабка. Вообще-то, она говорила «*древняя пишмашинка*», но такие завитушки – не мое. Я, мое – это синяки и хладнокровие, рост и мускулы, и божба, да редкие приступы сентиментальности. Если вы обычный человек, каких большинство, вы усомнитесь, что я два слова между собой могу связать, тем более – хоть что-то знать об эпосе или древних греках. Иногда удобно, если тебя считают туподумом, но лучше, если кто-нибудь видит, как есть на самом деле. Мне-то повезло.

У меня была Клаудия Киркби.

Был пацан, сын и брат.

Да, у нас всегда находился брат, и это был как раз он – один из нас среди нас пятерых, – кто взвалил это на себя. Как всегда, он сообщил мне спокойно и расчетливо, и, конечно, он все передал точно. Старая пишущая машинка была зарыта на заднем дворе в одном сплошь-задний-двор-городишке, но мне нужно было точно отмерить расстояние, иначе я мог бы вырыть вместо нее мертвую собаку или мертвую змею (что я и сделал – и ту и другую). Я сообразил, что раз собака оказалась там, и змея тоже, то и машинка где-то рядом.

Это был идеальный не-пиратский клад.

Я отправился в путь на следующий день после собственной свадьбы.

Прочь из города.

Ночь в пути.

Сквозь бесконечную пустыню – и еще немного пустыни.

Сам городишко возник будто четкий силуэт дальнего Диснейленда: его было видно изда-лека. Имелись и соломенный пейзаж, и марафон небес. А вокруг, обжимая, дикие заросли низкого кустарника и эвкалиптов; и это оказалась правда, правда, черт подери: люди сутулились и горбились. Этот мир их изнурил.

Возле банка рядом с одним из многих пабов женщина объяснила мне дорогу. Женщина с самой прямой в этом городе спиной.

– Свернете налево по Турникет-стрит, так? Потом прямо, где-то метров двести, и снова налево.

Темно-русая, хорошо одетая, в джинсах и ботинках, красной рубашке без рисунка, один глаз сильно щурится на солнце. Только одно ее выдавало: перевернутый треугольник кожи, там, под горлом: усталой, старой, потрескавшейся, как ручка кожаного баула.

– Ну, вы поняли?

– Понял.

– А какой дом-то, вообще-то, нужен?

– Двадцать три.

– А, так вы стариков Мерчисонов ищите?

– Ну, сказать по правде, вообще-то не их.

Женщина подошла поближе, и тут я разглядел ее зубы, какие они ослепительно-белые-но-притом-желтые: так похожие на самодовольное солнце. Она подошла, а я протянул руку, и вот я, вот она, ее зубы и городишко.

– Меня зовут Мэтью, – сказал я, а женщина назвалась Дафной.

Я уже был у машины, а она развернулась от самого банкомата и подошла ко мне. Она даже карточку там забыла, и вот встала передо мной, руки в боки. Я уже почти влез за руль, и тут она кивнула и узнала. Она знала почти все, как женщина, читающая новости:

– Мэтью Данбар.

Она не спрашивала, она утверждала.

Вот так я оказался в двенадцати часах езды от дома, в городишке, куда за все мои тридцать один год и нога моя ни разу не ступала, а здесь меня в каком-то смысле все ждали.

Мы долго смотрели друг на друга, по меньшей мере несколько секунд, и все было широко распахнуто. Появлялись люди, куда-то брели мимо.

– Что вам еще известно? – спросил я. – Вы знаете, что я приехал за пишущей машинкой?

Она открыла второй глаз.

Не убоявшись полуденного солнца.

– Пишущей машинкой?

Вот теперь я ее огорошил.

– Ни черта не понимаю!

И будто по сигналу какой-то старик принялся орать, не ее ли это сраная тачка перегородила к свиньям все движение возле сраного банкомата, и женщина метнулась отогнать машину. Может, я и смог бы объяснить, что во всей этой истории была и старинная пишмашинка – в те дни, когда в докторских приемных печатали на машинках и секретарши барабанили по клавишам. Было ли ей интересно, я теперь уже не узнаю. Но знаю, что ее указания были точными.

Миллер-стрит: бесшумный конвейер небольших, скромных домиков, выпекающихся в зное. Я вышел из машины, хлопнул дверцей и пересек хрустящую лужайку.

Вот примерно в ту минуту я пожалел, что не позвал с собой девушку, которую только что взял в жены – или, вернее, женщину, мать двух моих дочерей, – и, конечно, дочерей тоже. Деткам бы здесь понравилось, они бы тут гуляли, прыгали, танцевали: мелькающие ноги, солнце в волосах. Они бы прошлись по лужайке колесом с воплями: «И не смотри на наши трусы, понял?»

Да уж, медовый месяц.

Клаудия на работе.

Девочки в школе.

Конечно, где-то внутри мне это нравилось; да вообще это мне здорово нравилось. Я глубоко вздохнул, выдохнул и постучал.

* * *

В доме было как в печи.

Вся мебель обжарилась.

Картинки будто только из тостера.

Кондиционер у них был.

Но сломался.

Чай и крекеры, а солнце крепко плещет в окно. Пота к столу было в изобилии. Капал с запыстья на скатерть.

Мерчисоны оказались честной деревенщиной.

Мужчина в синей майке и с пышными бакенбардами, будто прицепил к щекам вырезанные из шубы мясницкие тесаки, и женщина по имени Рейлин. У нее были жемчужные сережки, мелкие кудряшки и сумочка в руках. Она все собиралась в магазин, но никак не уходила. С того мгновения, как я упомянул задний двор и заметил, что там может быть что-то зарыто, ей

понадобилось задержаться возле нас. Чай был выпит, от крекеров остался один обломочек, и тогда я посмотрел на меховые тесаки в упор. Мерчисон сказал мне просто и прямо:

– Думаю, пора за дело.

Оказавшись на длинном сухом дворе, я сделал несколько шагов налево, к сушильному столбу и облезлой умирающей банксии. На мгновение я оглянулся назад: маленький домишко, жестяная крыша. Солнце по-прежнему заливало его, но уже шло вниз, клонилось к западу. Я орудовал лопатой и руками – и докопался.

– Проклятье!

Собака.

Что-то еще.

– Проклятье!

Змея.

Обе – только голые кости.

Мы очистили их тщательно и осторожно.

Положили на траву.

– Ну и дела!

Старик воскликнул так трижды, но громче все-го – когда я наконец нашел тот старый «Ремингтон» серо-стального цвета. Оружие в земле, он был так туго умотан в три слоя толстой пленки, что были видны буквы на клавишах: первые Q и W, затем F и G в середине и, наконец, H и J.

Сначала я стоял и смотрел; смотрел, и все.

Эти черные кругляши как зубы чудовища, но дружелюбные.

Наконец я наклонился и вытянул машинку из земли осторожными грязными руками; засыпал все три ямы. Машинку мы развернули, оглядели и присели на корточки, чтобы изучить получше.

– Мировая штука, – заметил мистер Мерчисон.

Меховые тесаки затрепетали.

– Вообще! – согласился я: машинка была шикарная.

– С утра ничего такого не предвиделось.

Он поднял машинку и передал мне.

– Не хотите остаться на обед, Мэтью?

Это предложила старушка, еще не вполне опомнившаяся от изумления. Но изумление не отменяло обеда.

Не поднимаясь с корточек, я поднял на нее глаза.

– Спасибо, миссис Мерчисон, но я столько крекеров съел, что мне худо.

Я вновь окинул глазом домик. Теперь он был обернут и увязан в тень.

– Мне вообще-то пора ехать.

Я пожал руки обоим.

– Не знаю, как вас благодарить.

Я зашагал к дому с добычей в руках.

Мистер Мерчисон на такое не согласился.

Он остановил меня решительным «Эй!».

И что мне оставалось?

Наверное, имелась веская причина вырыть этих двух животных, и я, остановившись под сушильными вешалами – старым потрепанным столбом-зонтиком, точно как у нас – обернулся и ждал, что же скажет старик; и он сказал:

– А ты ничего там не забыл, приятель?

И кивнул на собачьи кости и на змею.

Вот так я и поехал прочь.

На заднем сиденье моего старенького универсала лежали в тот день собачьи кости, пишущая машинка и ажурный костяк королевского аспида. Примерно на полпути я остановился. Я знал там одно место – небольшой крюк, можно нормально поспать в кровати, – но решил не заезжать. Вместо этого я лежал в машине со змеей у горла. Проваливаясь в сон, я думал о том, что доначальное – повсюду: потому что прежде и еще прежде многих и многих событий жил-был мальчик в этом сплошь-задний-двор-городишке, и он упал на колени, когда змея убила собаку, а собака убила змею... но обо всем этом я еще расскажу.

Нет, все, что вам сейчас нужно знать: домой я добрался на следующий день.

Приехал в город, на Арчер-стрит, где все началось и продолжалось – многими и разными путями. Спор о том, какого рожна мне было везти домой собаку и змею, рассосался несколько часов назад, и те, кому надлежало уйти, ушли, а те, кто должен был остаться, остались. Последним штрихом стала перепалка с Рори о грузе на заднем сиденье. С Рори, ни с кем иным! Он не хуже любого другого знает, кто мы, и что мы, и зачем:

Семья обветшалой трагедии.

Комиксовый «бабах!», внутри которого – пацаны, кровь и зверье.

Да мы созданы для таких реликвий.

В самый разгар препирательства Генри ухмыльнулся, Томми рассмеялся, и оба сказали: «Ну как всегда!» Четвертый из нас спал и спал все время, пока меня не было.

Что до моих девочек, то они, войдя в комнату, подивились костям и сказали:

– Папа, зачем ты их принес?

Потому что дебил.

Я поймал Рори на том, что он тоже так подумал, но вслух никогда бы не сказал этого при моих детях.

Что до Клаудии Данбар – урожденной Клаудии Киркби, – то она покачала головой и взяла меня за руку, и была довольна, настолько, черт меня возьми, довольна, что я опять мог сорваться. Не сомневаюсь, это потому что я был рад.

Рад.

Глупое вроде слово, но я пишу и рассказываю вам все это только потому, что именно таковы мы и есть. А я особенно, потому что я люблю эту нынешнюю кухню со всей ее великой и ужасной историей. И писать буду здесь. Уместно делать это здесь. Я рад слышать, как мои записки барабнят по странице.

Передо мной древняя пишмашинка.

Дальше, позади нее, – исцарапанная деревянная стель стола.

Там стоят разномастные солонка и перечница и лежит банда упрямых крошек от тостов. Свет из коридора желт, а здесь свет белый. Я сижу, думаю и стучу здесь. Колочу и колочу по клавишам. Писать всегда трудно, но легче, если есть что сказать.

Я расскажу вам о нашем брате.

Четвертом из ребят Данбаров по имени Клэй.

Все это случилось с ним.

И через него изменились мы все.

Часть первая. Города

Портрет убийцы в образе мужчины средних лет

Если до начала (в тексте, по крайней мере) были пишущая машинка, собака и змея, то уже в начале – одиннадцать лет назад – были Убийца, мул и Клэй. Однако даже в начале кто-то должен выйти первым, и в тот день это мог быть только Убийца. В конце концов, именно он заставил всё двинуться вперед, а мы все смотрели назад. Он сделал это своим появлением. Он пришел в шесть часов.

Вообще-то, момент был вполне подходящий: очередной волдырчатый февральский вечер, день испек бетон, солнце еще высокое и болезненное. За это пекло можно было держаться и от него зависеть, или, вернее, оно держало *его*. В истории всех убийц по всему свету этот был, несомненно, самым жалким: среднего роста, пять футов десять дюймов, семьдесят пять кило, нормальный вес.

Но не сомневайтесь – это был пустырь в пиджаке; согнутый, переломленный. Он наваливался на воздух, будто надеясь, что тот его прикончит, да только безуспешно: не сегодня, ведь довольно неожиданно оказалось, что сейчас – не тот момент, чтобы делать одолжения убийце.

Нет, сегодня он это чувствовал.

Чуял носом.

Он бессмертен.

Что, в общем, подводит черту.

Будьте уверены, Убийца неубиваем – именно в тот момент, когда ему лучше всего быть мертвым.

* * *

И вот, долго, не меньше десяти минут, он стоит на перекрестке у начала Арчер-стрит, ему легко оттого, что он наконец здесь, и панически страшно здесь быть. Улице, похоже, до него никакого дела: ее дыхание близко, но легко, его дымный привкус можно осознать. Машины скорее воткнуты, чем припаркованы, провода провисли под тяжестью безмолвных, горячих и встревоженных голубей. А вокруг город карабкается вверх и окликает:

«С возвращением, Убийца».

Такой ласковый голос совсем рядом.

Тебе здесь предстоят определенные сложности, я бы сказал... Строго говоря, «сложности» – это и близко не передает сути. Ты в ужасной беде.

И он это знает.

И скоро зной подступает ближе.

Арчер-стрит готовится взяться за дело, почти потирает руки, и Убийца уже почти горит. Он чувствует, как разгорается пламя где-то под пиджаком, и тут приходят вопросы.

Сможет ли он проделать оставшийся путь и завершить начатое?

Готов ли увидеть, чем это обернется?

Еще секунду он позволил себе роскошь – блаженство неподвижности, – затем проглотил слюну, провел ладонью по венцу своих терновых волос и с мрачной решимостью зашагал к дому номер восемнадцать.

Человек в пылающей одежде.

Конечно, шагал он в тот день в дом пяти братьев.

К нам, пацанам Данбарам.

По старшинству: я, Рори, Генри, Клэйтон, Томас.

Мы больше не будем прежними.

Справедливости ради, и он тоже – и чтобы вы хоть примерно себе представляли, к чему сейчас приближается Убийца, нужно рассказать, какими мы были.

Многие считали нас шпаной.

Дикарями.

В целом, они были правы.

Мать у нас умерла.

Отец сбежал.

Мы бранились как каторжники, дрались как самцы в гон и изо всех сил старались надрать друг друга в бильярд, в настольный теннис (всегда это был стол из третьих-четвертых рук, нередко поставленный прямо на травяные кочки заднего двора), в «Монополию», в дартс, в амфут, в карты – во все, что только было в нашем распоряжении.

У нас было пианино, на котором никто не играл.

Телик у нас отбывал пожизненное.

Диван – двадцатку.

Иногда звонил телефон, и один из нас выходил за порог, сбегал с крыльца и трусил к соседнему дому: это всегда звонила старушка миссис Чилман – купила бутылку томатного соуса и не может отвернуть треклятую крышку. Затем тот, кто уходил, возвращался, отпущенная входная дверь громко хлопала за ним, и жизнь текла дальше.

Да, для нас пятерых жизнь текла непрерывно.

Это мы вколачивали друг в друга и выбивали друг из друга, особенно когда все складывалось точно как надо или совершенно вкось. Она текла, когда мы выходили под вечер на Арчер-стрит. И шли гулять в город. Башни, улицы. Встревоженные деревья. Выхватывали обрывки громких разговоров, доносившихся из пабов, домов и квартир, полностью уверенные, что все здесь наше. Мы едва ли не всерьез думали все это собрать и унести домой под мышками. И не важно, что наутро, проснувшись, мы увидим, что все опять ушло, разбежалось, все эти здания и яркий свет.

А, и еще одно.

Наверное, самое важное.

В коротком списке бесполезных домашних животных мы были, насколько нам, в конце концов, стало известно, единственными, кто держал мула.

И какой это был мул!

Животное, о котором идет речь, звалось Ахиллес, и повесть о том, как он оказался на нашем городском дворе посреди одного из конных кварталов мегаполиса, – это долгая эпическая песнь. С одной стороны, там действуют заброшенные конюшни и тренировочные дорожки позади нашего дома, устаревшее муниципальное постановление и грустный старик толстяк, писавший с ошибками. С другой – наша покойная мать, наш беглый отец и наш младшенький, Томми Данбар.

И в тот момент даже не всех в доме спросили: появление мула вызвало препирательства. После как минимум одного жаркого спора с Рори...

(– Эй, Томми, что у нас творится?

– Что?

– В смысле: «Что?», ты угораешь? Там во дворе осел!

– Не осел, это мул.

– Да какая разница?

– Осел – это осел, а мул – это помесь ос..

– Мне насрать, хоть он на четверть лошадь, скрещенная с драным шетландским пони!

Что он делает у нашего сушильного столба?

– Он ест траву.

– Это я сам вижу!)

...мы все же как-то договорились его оставить.

Или, если точнее, мул у нас остался.

Как и с большинством других животных Томми, с Ахиллесом возникли кое-какие трудности. Самая большая заключалась в том, что у мула были свои запросы: москитной сетки на черном входе у нас давно не было, и мул завел обычай проходить в дом, если дверь оставляли приоткрытой или тем более распахнутой. Такое случалось не реже чем раз в неделю, и не реже чем раз в неделю у меня падало забрало. Начиналось примерно так:

– Гос-споди Иисусе!!!

В то время я яростно божился, характерно разрывая пополам «Гос-споди» и сильно ударя на «ИсУсе».

– Я же вам, уродам, не раз и не два говорил, тыщу раз, блин, говорил! Запирайте заднюю дверь!

И понеслась.

Что вновь возвращает нас к Убийце: откуда он вообще мог знать?

Он мог предположить, что, когда придет, никого из нас не будет дома.

И, значит, догадывался, что придется решать: попробовать старый ключ или дожидаться на крыльце – чтобы задать свой единственный вопрос, предложить, что задумал.

Конечно, он готовился и даже, наверное, был бы рад издевкам и глумлению.

Но человеческим.

А тут такое.

Боль от этого небольшого дома, наскок тишины.

И этот взломщик, воришка на копытах.

Примерно в четверть седьмого он шел, шаг за шагом, по Арчер-стрит, и тягловая скотина моргнула.

Вот так оно и получилось.

Глаза, взгляд которых встретил Убийцу внутри, были глазами Ахиллеса, а с Ахиллесом шутки плохи. Он стоял на кухне в нескольких шагах от задней двери, перед холодильником, с обычной для себя «чего вылупился?» миной на длинной несимметричной морде. Раздувал ноздри и даже что-то пожевывал. Невозмутимый. Уверенный в себе. Когда он приглядывал за пивом, то справлялся совсем неплохо.

Ну?

До сего момента всю беседу как будто вел Ахиллес.

Сначала город, теперь мул.

Теоретически это можно было как-то, хотя бы приблизительно, объяснить. Если кто-то из семейства лошадиных и мог объявиться в городе, то, пожалуй, именно тут: конюшни, дорожка, далекие голоса комментаторов.

Но мул?

Потрясение было неопишным, а обстановка ничуть не располагала.

У кухни были свой климат и география.

Ненастные стены.

Пересохший пол.

Береговая линия грязных тарелок, протянувшихся к раковине.

И потом – зной, зной.

От этой кошмарной, тяжелой духоты на мгновение ослабла даже воинственная бдительность мула. В доме было хуже, чем на улице: достижение, какими не пренебрегают.

Но Ахиллес вскоре вернулся к своей миссии, а может, Убийца потерял столько влаги, что уже галлюцинировал? Из всех кухонь мира! У него мелькнула мысль потерять глаза кулаками, чтобы настроить картинку, но это бы не помогло.

Мул был на самом деле.

Не сомневайся, эта тварь – серый, пятнистый, рыжий, соловый, соломенногривый, с удивленными глазами, с мясистыми ноздрями, невесть откуда взявшийся ублюдок-мул – стоит непоколебимо на растрескавшемся полу победителем и доказывает с непреложной ясностью следующее.

Убийца, конечно, должен делать много всякого, но никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен возвращаться домой.

Разминка путь Клэя

На другом конце города, когда Убийца встретился с мулом, находился Клэй, и Клэй разминался. Правду сказать, Клэй разминался постоянно. В тот момент он бегал в старом многоквартирном доме: под ногами – лестничный марш, на закорках – другой пацан, а в груди – грозовая туча. Короткие темные волосы приглажены, в глазах – огонь.

Рядом, справа, бежал другой паренек – светловолосый, годом старше, – стараясь не отстать, но при этом подталкивая. А слева мчалась со всех ног бордер-колли, и вместе получалось, что Генри и Клэй, Томми и Роза заняты тем, чем бывают заняты всегда.

Один болтает.

Один тренируется.

Один цепляется за жизнь.

И даже собака выкладывается полностью.

Для такой тренировки требовался ключ, и они платили другу, который устраивал им проход в здание. Десятка за бетонную глыбу с начинкой. Неплохо. Бегут.

– Ты несчастный кусок говна, – говорит Генри (делец и союзник) Клэю под локоть.

Пыхтя по лестнице, он подскакивает и смеется. Улыбка, не удержавшись, слетает с лица; он ловит ее в ладонь. В такие минуты Генри общается с Клэем набором испытанных и проверенных оскорблений.

– Ты ноль, – говорит он. – Тюфячина.

Ему неприятно, но приходится продолжать:

– Хлипкий, как яйцо всмятку, пацан. Прямо тошно глядеть на такой бег.

А скоро наблюдается и другая традиция. Младшенький Томми, собиратель животных, теряет кед.

– Блин, Томми, кажется, я тебе говорил завязывать шнурки как следует. Давай, Клэй, не смей меня, не хлюзди. Как насчет чуток подвигать булками?

Они поднялись до седьмого этажа, где Клэй свалил Томми в сторону и поймал в захват говоруна справа. Они грохнулись на затхлые плитки пола, Клэй – почти улыбаясь, двое других – смеясь, и все – стряхивая пот. После короткой борьбы Клэй поймал шею Генри в зажим. Поднял его на ноги и провез разок вокруг себя.

– Тебе срочно надо в душ, чувак.

Генри в своем репертуаре.

Мы всегда говорили: чтобы прикончить Генри, надо дважды уколошить его язык.

– Воняешь – кошмар что такое.

Клэй чувствовал жилу в руке, выворачивавшей больно умную шею Генри.

Решив вмешаться, Томми, давно и успешно тринадцатилетний, запрыгнул на них с разбегу, и все трое опять оказались на полу: руки, ноги, мальчишки и лестничная клетка. Вокруг скакала Роза: хвост трубой, грудь вперед. Черные ноги. Белые лапы. Роза лаяла, но свалка продолжалась.

После всего они лежали на спине; окно на верхней площадке лестницы, мутный свет и распираемые дыханием ребра. Воздух был тяжек. Тоннами, грудами ложились выдохи. Генри жадно втянул его ртом, но его язык оставался верен себе:

– Томми, мелкий засранец.

Тот глянул на него и улыбнулся.

– Мне кажется, ты мне жизнь спас, чувак.

– Спасибо.

– Да не, тебе спасибо.

Генри мотнул головой на Клэя, который уже приподнялся на локте. Вторую руку он держал в кармане.

– Вообще не понимаю, зачем мы терпим этого психа.

– Я тоже.

Но они понимали.

Прежде всего, он был Данбар, а потом с Клэем тебе хотелось знать.

Что это все-таки такое?

Что такое стоило знать о Клэйтоне, нашем брате?

Вопросы тянулись за ним много лет.

Например, почему он улыбается, но никогда не смеется?

Почему дерется, но никогда не ради победы?

Почему ему так нравится сидеть на крыше?

Почему бежит не ради удовлетворения, но ради дискомфорта – будто ищет двери в боль и страдание и всегда с этим мирится?

Ни один из этих вопросов, однако, не был ему особенно по нраву.

Это были разминочные вопросы.

Не более того.

Полежав на спине, они еще трижды взбежали наверх, и Роза на бегу подобрала потерянный кед.

– Слышь, Томми.

– Ну?

– Следующий раз завязывай крепче, понял?

– Конечно, Генри.

– Двойным узлом – или я тебя пополам перережу.

– Ладно, Генри.

Внизу Генри хлопнул его по плечу – и они взбежали по лестнице и спустились в лифте. (В чем-то понимании мухлеж, но на самом деле намного труднее: сокращает время отдыха). Завершив последний подъем, Генри, Томми и Роза опять поехали вниз, но Клэй спустился пешком. Вышли, направились к машине Генри, похожей на лежащую на дороге чугунную плиту. Там повторилась привычная история:

– Роза, ну-ка вали с моего места.

Она сидела за рулем, уши – идеальные треугольники. Такой вид, будто сейчас возьмется ловить любимую станцию на радио.

– Ну-ка, Томми, выкини ее отсюда, удружи нам.

– Иди сюда, красотка, хорош дурить.

Генри сунул руку в карман.

Полная горсть монет.

– Клэй, держи, встречаемся там.

Двое ребят едут, третий бежит.

Крик в окно:

– Эй, Клэй!

Он наподдал. Не оборачивается, но слышит каждое слово. Каждый раз – все та же песня.

– Купи ромашек, если успеешь, ее любимые, помнишь?

Как будто он не знает.

Машина удаляется, мигнув поворотниками.

– Да смотри торгуйся!

Клэй ускоряет бег.

Начинает подъем на холм.

А сначала тренировал его я, потом – Рори, и если я применял классический метод простодушной добросовестности, то Рори прессовал, хотя и не ломал. Что же до Генри, то тот разработал систему – он занимался за деньги, но еще и потому, что ему нравилось: скоро мы увидим подтверждение этого.

На первых порах все было незатейливо, но тупо.

Мы говорили ему, что делать.

Он выполнял.

Мы могли его гнобить.

Он все сносил.

Генри мог выставить его из машины, потому что видел своих приятелей, шагающих домой под дождем, – и Клэй выходил и послушно трусил вдоль дороги. А потом, когда они проезжали мимо и кричали из окна машины «Хорош сачковать!», он прибавлял ходу. Томми, зверски терзаемый совестью, смотрел на него сквозь заднее стекло, и Клэй не отводил взгляда, пока машина не скрывалась из виду. Перекошенная стрижка за стеклом становилась меньше и меньше; и так оно все и шло.

Могло казаться, что мы его тренируем.

На самом же деле и близко не было.

Со временем слова значили все меньше, а методика все больше. Мы все знали, чего он хочет, но как он собирается этим распорядиться, не догадывались.

За каким дьяволом Клэй Данбар тренировался?

В шесть тридцать, с тюльпанами у ног, он перегнулся через кладбищенскую стену. Милое место и воздушное: Клэю там нравилось. Он глядел на солнце, пасшееся между небоскребами.

Города.

Этот город.

Там, внизу, машины сбивались в стада. Сменяли друг друга огни светофоров. Убийца пришел.

– Прошу прощения?

Никакой реакции. Он крепче ухватился за ограду.

– Молодой человек?

Оглянувшись, он увидел старушку, которая указывала на него, посасывая губы.

Должно быть, вкусные.

– Вы не против?

У нее был размытый взгляд, на ней были поношенное платье и чулки. Казалось, зной ей нипочем.

– Можно попросить у вас один цветочек?

Клэй заглянул в глубокую морщину, длинную борозду над ее глазами. Протянул тюльпан.

– Благодарю, благодарю, молодой человек. Для моего Уильяма.

Клэй кивнул и следом за ней прошел в кладбищенские ворота: двинулся вдоль могил. Добравшись до нужной, он присел на колено, потом постоял, сложил на груди руки и посмотрел на предзакатное солнце. Он не мог бы сказать, сколько времени прошло, прежде чем по бокам возникли Генри и Томми, а у памятника – высунувшая язык Розы. Ребята стояли, ссутулившись, но не обмякнув, и держали руки в карманах. Если бы у собаки были карманы, не сомневаюсь, она тоже сунула бы туда лапы. Все их внимание было сосредоточено на могильной плите и увядавших на глазах цветах, которые положили перед ней.

– Ромашек нет?

Клэй отвел глаза.

Генри пожал плечами.

– Ну, Томми.

– Что?

– Отдай, его очередь.

Клэй вытянул руку. Он знал, что делать.

Он взял флакон со спреем, брызнул на металлическую табличку. Затем ему подали рукав от серой футболки, и он как следует потер и отполировал памятник.

– Пропустил кусок.

– Где?

– Томми, ты слепой? Вон, в углу, смотри. Глаз нету?

Клэй послушал их перепалку, потом еще поводил тряпкой по кругу; рукав стал черным: грязные губы города. Все трое мальчишек были в майках и потрепанных шортах. Все трое сжали зубы. Генри подмигнул Томми.

– Молодчина, Клэй, а теперь пора в путь, а? Неохота опоздать на главное событие.

Томми с собакой двинулись первыми, как всегда.

Затем Клэй.

Догнав их, Генри заметил:

– На нормальном кладбище и соседи норм.

Что и говорить, гнать пургу он мог бесконечно.

Томми сказал:

– Терпеть не могу сюда ходить, ты же знаешь, да?

А Клэй?

Клэй – всегдашний тихоня, улыбака – только обернулся напоследок и еще раз бросил взгляд на залитое солнцем поле статуй, крестов и могильных плит.

Они выглядели как кубки за второе место. Все до единого.

Дикари

Тем временем на Арчер-стрит ситуация на кухне зашла в тупик.

Убийца медленно попятился за дверь, в комнаты. Тишина в доме устрашала – бескрайнее море, где совесть терзала его и топила, – и вместе с тем оказывалась фальшивой. Урчал холодильник, дышал мул, к тому же в доме обнаружились и другие животные. Вот сейчас, отступив в коридор, Убийца почувствовал рядом с собой какое-то движение. Не шел ли кто-то по его следу?

Какое там.

Нет, звери не представляли совершенно никакой угрозы: больше всего его пугали двое старших нас.

Я, ответственный, – уже давно кормилец семьи.

И Рори, несокрушимый, – человек-гиря.

Примерно в шесть тридцать Рори стоял на другой стороне улицы, привалившись к столбу, улыбался криво и растерянно, улыбался лишь в шутку; мир был пакостным, и Рори таким же. После недолгого поиска он снял с губ длинный женский волос. Кто бы она ни была, где бы ни находилась, в мыслях Рори девушка сейчас лежала, раздвинув ноги. Девушка, о которой мы не узнаем, которую не увидим.

А минутой раньше он столкнулся с девушкой, которую мы знаем, с девушкой по имени Кэри Новак. Прямо возле ее дома.

Она пахла лошадьми и приветственно окликнула его.

Спрыгивая со старого велосипеда.

У Кэри были густо-зеленые глаза и каштановые волосы – километрами спадавшие по спине, – и она передала ему сообщение для Клэя. Оно касалось книги: одной из трех, важных для всего.

– Скажи ему, что мне по-прежнему нравится Буонаротти, ладно?

Рори растерялся, но не шелохнулся. Только губы зашевелились:

– Борна... кто?

Девчонка рассмеялась, направляясь к гаражу.

– Просто передай, ладно?

Но потом сжалась, обернулась на ходу, такая веснушчаторукая и уверенная. В ней была какая-то особая щедрость – зная, пота и жизни.

– Ну, знаешь, – сказала она, – Микеланджело?

– Чего?

Рори еще больше запутался. Чокнутая, подумал он. Милашка, но совершенно чокнутая. Кого чешет этот Микеланджело?

Но тем не менее сообщение застряло в голове.

Нашел столб, передохнул у него, затем перешел дорогу, домой.

Рори хотелось чутка подкрепиться.

А я, я был недалеко, ехал, полз в пробке.

Вокруг, впереди, позади, выстроились тысячи машин, устремлявшихся к разным домам. Упорная волна зноя наваливалась через окно моего универсала (того, на котором я езжу до сих пор), и бесконечно тянулась кавалькада рекламных щитов, магазинных витрин и порциями движущихся пешеходов. С каждой подвижкой город вламывался в салон, но в нем оставался и привычный запах дерева, шерсти и лака.

Я высунул руку за окно.

Тело ощущалось как деревянная колода.

Ладони у меня были липкими от клея и скипидара, и мне хотелось одного: скорее попасть домой. Принять душ, сварганить ужин и, может, почитать или посмотреть старый фильм.

Ведь не так много и хотел, правда?

Доехать до дому и отдохнуть?

А вот и выкуси.

Бернборо

На такие дни у Генри были свои правила.

Во-первых, обязательно пиво.

Во-вторых, холодное.

По этой причине он оставил Томми, Клэя и Розы на кладбище, с уговором позже забрать их в Бернборо-праке.

(Бернборо-парк, для тех, кто не знает наш район, – это заброшенный стадион. Тогда там были рассыпающиеся трибуны и удобная парковка, компенсировавшая разбитые стекла. И у Клэя это было место самых жестких тренировок.)

Впрочем, прежде чем сесть в машину, Генри счел нужным дать Томми еще несколько последних инструкций. Розы тоже слушала:

– Если я припоздаю, скажи им попрердержать коней, ладно?

– Ясно, Генри.

– И скажи им, чтобы бабки готовили сразу.

– Ясно, Генри.

– У тебя не заело это «ЯсноГенри», а, Томми?

– Не заело.

– Давай продолжи в том же духе, и я тебе всыплю, прямо при нем. Хочешь?

– Нет, Генри, спасибо.

– И я тебя понимаю, пацан.

Быстрая улыбка – движение озорного, хорошо тренированного ума. Генри шлепнул Томми по уху, ласково, но ловко, затем схватил Клэя.

– А ты – будь другом...

Он сжал его лицо ладонями.

– Не пропусти тех двух уродов.

В облаке пыли, взметенной колесами, Розы смотрела на Томми.

Томми смотрел на Клэя.

Клэй не смотрел ни на кого.

Он сунул руку в карман; в тот момент он всей душой хотел снова пуститься бегом, но с городом, распахнутым перед ними, и с кладбищем за их спинами. Он сделал два шага к Розы и подхватил ее под мышку.

Он выпрямился, и собака заулыбалась.

Ее глаза были пшеница и золото.

Она рассмеялась миру внизу.

Они оказались на Энтрити-авеню, только поднялись на высокий холм – и тут Клэй пустил Розы на землю. По гнилым стручкам плюмерии они протопали на Посейдон-роуд: главное место конных кварталов. Ржавая миля магазинов.

И если Томми тянуло в зоомагазин, Клэя влекли другие места: ее улицы, ее памятники.

Лонро, думал он.

Боббиз-лейн.

Мощенная булыжником Питер-Пен-сквер.

У нее каштановые волосы и густо-зеленые глаза, и она ученица Энниса Макэндрию. Ее любимый конь носит кличку Матадор. Ее любимыми скачками всегда были Кокс Плейт. Любимый победитель этих скачек – могучий Кингстон-Таун, добрых тридцать лет назад. (Все лучшее случается до нашего рождения.)

Книга, которую она читает, – «Каменотес».
Одна из трех, важных для всего.

На знойной Посейдон-роуд братья с собакой свернули на восток, и вскоре надвинулось: стадион.

И вот они уже идут на фоне его ограды, и вот сквозь дыру пробираются внутрь.

На беговой дорожке, под солнцем, они ждут.

Через несколько минут появляется привычная компания – малолетние стервятники на останках стадиона: дорожки затопил бурьян. Красный тартан слезает лоскутами. На поле выросли настоящие джунгли.

– Смотри.

Томми указал рукой.

Стекалось все больше мальчишек, со всех сторон высшего подросткового великолепия. Даже издали можно было увидеть их пригоревшие на солнце улыбки и пересчитать их уличные шрамы. А еще почувствовать запах: запах вечных полумужичков.

Стоя на внешней дорожке, Клэй наблюдал за ними. Потягивающие из бутылок, чешущие под мышками. Швыряющие пустую посуду. Некоторые пинали проплешины на дорожке – наконец, довольно скоро, он увидел все, что нужно.

Потрепав Томми по плечу, он двинулся к навесу трибун.

Их тень поглотила его.

Попался грекам

К смущению и утешению Убийцы, в гостиной обнаружились остальные – те, кого мы частенько называли бандой Томминых идиотских питомцев. А ведь еще, конечно, имена. Кто-то назвал бы их величественными, кто-то, опять же, комичными. Первой Убийца увидел золотую рыбку.

Боковым зрением он заметил у окна аквариум на подставке и, повернувшись, разглядел рыбку, бросавшуюся вперед и откатывающуюся назад, таранившую лбом стеклянную стену.

Ее чешуя – словно оперенье. Хвост – золотая лопасть.

АГАМЕМНОН.

На полутотсохшей наклейке у днища это объявляла надпись зеленым маркером, сделанная неровным мальчишечьим почерком. Это имя Убийце было знакомо.

Затем на истертом диване спящий между пультом от телевизора и грязным носком обнаружился здоровенный серый зверюга-кот: полосатый, с гигантскими черными лапами и восхлещательным знаком хвоста, он носил кличку Гектор.

Во многих смыслах этот Гектор был самым презренным животным в доме; и сегодня, даже в такой зной, он спал, свернувшись, будто жирное косматое С, это если не считать хвоста, воткнутого в него будто шерстистый меч. Когда кот менял положение, шерсть летела с него тучами, но он спал, ничуть не уменьшаясь и мурча. Довольно было кому-то пройти мимо, чтобы он включил мотор. Хоть и Убийце. Гектор никогда не отличался особой разборчивостью.

Наконец, длинная просторная птичья клетка на книжном шкафу.

В ней, выжидая, сидел голубь, торжественно серьезный, но довольный.

Дверца клетки стояла нараспашку.

Раз-другой голубь прошелся по клетке, и его сизая голова каждый раз едва заметно, с идеальной синхронностью кивала. Именно так птица занимала себя каждый божий день, дожидаясь возможности усестись на Томми.

Мы называли его Телли.

Или Ти.

Но никогда, ни по какому случаю, не его полным возмутительным именем – Телемах.

Боже, как мы злились на Томми за эти клички.

Единственное, почему это сошло, – мы все понимали: этот малый знал, что делает.

Сделав несколько шагов, Убийца огляделся.

Вот, похоже, и вся компания: один кот, один птиц, одна золотая рыбка, один убийца.

И, конечно, мул на кухне.

Вполне безобидное сборище.

В странноватом свете, в нависшем зное, среди других предметов в гостиной – подержанный и побитый ноутбук, заляпанные кофе подлокотники дивана, стопки учебников на полу – Убийца чувствовал его присутствие, прямо за своей спиной. Этой вещи оставалось разве что крикнуть: «Бу-у!»

Пианино.

Пианино.

Господи, думал он, пианино.

Деревянное, ореховое, прямое, оно стояло в углу с закрытым ртом и океаном пыли на крышке.

Замкнутое и спокойное, ощутимо грустное.

Пианино, и всё.

Если вы думаете, что в нем не было ничего особенного, не спешите, потому что левая нога Убийцы задрожала. А сердце стиснула такая боль, что он совсем было ринулся прочь через парадную дверь.

Ну и наступило время для первых шагов на крыльце.

* * *

Был ключ, была дверь, был Рори – и ни секунды, чтобы подготовиться. Любые слова, которые Убийца мог произнести, испарились из его гортани, да и воздуха-то в ней тоже осталось немного. Только вкус колотящегося сердца. И он лишь мельком увидел парня, потому что тот в один миг просквозил по коридору. Великим стыдом стало, что Убийца не понял, кто это был.

Рори или я?

Генри или Клэй?

Конечно, не Томми. Слишком большой.

Все, что он успел ухватить, это движущаяся фигура, а затем радостный рев с кухни:

– Ахиллес, ну ты и наглое рыло!

Хлопнула дверца холодильника, и тут встрепенулся Гектор. Он с глухим стуком спрыгнул на пол и потянул задние лапы в той самой тряской кошачьей манере. И вступил на кухню с другого конца. Голос тут же поменялся:

– Тебе какого хера тут надо, Гектор, жирный мешок с дерьмом? Опять ко мне в кровать запрыгнешь сегодня – и конец, клянусь.

Шелест хлебных пакетов, открывание банок. И снова смех:

– Эй, Ахиллес, старина?

Разумеется, он не стал его выпроваживать. Пусть Томми парится, решил он. Или еще лучше, решил, что на мула надо наткнуться мне. Вот это будет огонь. Так оно и вышло.

И столь же быстро, как ворвался, Рори еще разок промелькнул в коридоре, хлопнул входной дверью – и был таков.

Как вы можете вообразить, от такого Убийца оправился не сразу.

Сколько-то сердечных толчков, сколько-то вдохов.

Его голова поникла, мысли возносили хвалу.

Золотая рыбка бодала аквариум.

Голубь разглядывал его, затем промаршировал из конца в конец клетки, будто генерал, а вскоре вернулся и Гектор – вошел в гостиную и сел, будто в зрительном зале. Убийца определенно слышал собственный пульс – его гул, его шипение. Он чувствовал его у себя в запястьях.

Если что и было ему ясно, так это одно.

Нужно сесть.

И он быстро нашел себе прибежище на диване.

Кот облизнул морду и бросился.

Оглянувшись, Убийца увидел Гектора в момент прыжка – плотный серый ком шерсти и полосок – среагировал и поймал. По крайней мере, на мгновение, задумался: погладить или нет? Но Гектору было все равно – он мурчал на весь дом, прямо на коленях Убийцы. Он даже выпустил от удовольствия когти и кромсал Убийце бедро. И тут пришел кто-то еще.

В это было почти невозможно поверить.

Это они.

Это они.

Мальчишки идут, а я здесь сижу, придавленный самым тяжелым в истории человечества домашним котом. Его как будто придавило наковальней, но при этом еще и мурчащей.

На сей раз это оказался Генри, убирающий челку с глаз и деловито направляющийся на кухню. Он был не так весел, но спешил, точно, не меньше Рори:

– Да, молодчина, Ахиллес, не забуду. Представляю, как Мэтью вечером взбесится.

Еще бы!

Генри полез в холодильник и на сей раз продемонстрировал кое-какие манеры:

– Друг, ты не мог бы чуток убрать башку, а? Бла-адаю.

Он позвякивал пивными банками, доставая их и закидывая в холодильник, – и вскоре снова вышел за порог, торопясь в Бернборо-парк, а Убийца снова остался.

Что происходит в этом доме? Неужели никто не почует убийцу?

Нет, так просто не обойдется, и вот он обдумывает – на сей раз поверженный на диване в состоянии природной невидимости. Он застрял где-то между ее утешительной милостью и ее постыдным бессилием – и сидел, бесхитростный и спокойный. Вокруг него в вечернем свете вихрился циклон кошачьей шерсти. Золотая рыбка вновь пошла войной на стекло, а голубь пустился рысью.

Сзади за ним наблюдало пианино.

Человек-гиря

В Бернаборо-парке, собрались наконец все, жали руки, смеялись. Кайфовали. Пили, как то свойственно подросткам, со всей жадностью и открытостью. Окликали «Эй!» и «Алё!», спрашивали «Где ты пропадал, блин, падла пьяная?» Сами об этом не подозревая, они были виртуозами аллитерации.

Едва Генри выбрался из машины, первым делом он удостоверился, что Клэй уже в подтрибунной раздевалке. Там он встретит сегодняшнюю команду: шестерых пацанов, все ждут его, а потом будет вот что.

Они выйдут из тоннеля.

Каждый из шестерых займет позицию где-то на четырехсотметровой дорожке.

Трое – на отметке в сто метров.

Двое – на двухстах.

И один – где-то между тремястами и финишем.

Наконец, самое важное: каждый из шестерых будет изо всех сил мешать Клэю пробежать этот единственный круг. Но это легче сказать, чем сделать.

Что до толпы зрителей, то они угадывают исход. Каждый называет какое-то время, и тут уже начинается работа Генри. Он с большой охотой принимает ставки. Кусок мела в руке, старинный секундомер на шее – и он готов.

* * *

Сегодня несколько человек подступили к нему сразу же, у подножия трибун. Многие из них для Генри даже не были реальными людьми – просто прозвища с пристегнутыми к ним пацанами. Ну а мы всех их, кроме двоих, увидим здесь и тут же бросим, они навсегда останутся такими балбесами. И это, если подумать, в общем, милость.

– Ну, Генри? – подскочил к нему Короста.

Парня с таким прозвищем можно только пожалеть: он весь был испещрен струпьями разных форм, размеров и цветов. Вроде как он начал откалывать всякие дурацкие штуки на велике в восемь лет, да так и не унимался.

Генри почти уже пожалел его, но все же предпочел презрительно усмехнуться.

– Что «Ну»?

– Он выдохся?

– Не особо.

– Он уже сбегал по Сракиной лестнице?

На сей раз это Чохарь. Чарли Дрейтон.

– А в гору на кладбище?

– Он молодцом, не ссы, машина просто.

Генри потер руки в радостном волнении.

– Но у нас там тоже шестеро из лучших. Даже Старки.

– Старки! Эта сучара снова здесь, что ли? Ну, это накидывай, думаю, не меньше полминуты.

– Да ладно те, Рыба, Старки только языком. Клэй пролетит мимо, не заметив.

– Срак, сколько там этажей у вас, я забыл?

– Шесть, – ответил Генри. – И, кстати, ключик подзаржавел. Организуй нам новый, и я, может, даже позволю тебе ставить бесплатно.

Срака, курчавый, курчаволицый, облизнул курчавые губы.

– Ну? Серьезно?

– Ну ладно, может, за полцены.

– Эй, – вступил в разговор парень по прозвищу Дух. – А с какого это Сраке бесплатно ставить?

Генри оборвал его, пока и обрывать-то было нечего.

– Так уж вышло, Дух, бледный ты хуй, у Сраки есть кое-что для нас полезное: он полезный человек.

Шедший рядом Генри поучал:

– А вот ты, с другой стороны, бесполезный. Сечешь?

– Ладно, Генри, а если так?

Срака решил поторговаться.

– Можешь взять мой ключ, если примешь у меня три ставки на гратис.

– На *гратис*? С каких пор ты у нас, блин, француз?

– А по-моему, это не французы говорят гратис. Это, Генри, кажись, немцы.

Голос донесся со стороны; Генри обернулся.

– Ты, что ли, Жова, лохматка охеревшая? Ты в прошлый раз и по-английски-то не особо мог!

И к остальным:

– Только поглядите на этого чудилу!

Смех.

– Молодцом, Генри.

– И не думай, что «Молодцом, Генри» поможет тебе выпросить скидку.

– Эй, Генри...

Срака. Еще один заход.

– А что, если...

– Да боже ж мой!

Генри яростно закричал, но это была притворная ярость, не настоящая. В свои семнадцать он изведаль большую часть того, что может обрушить на человека жизнь в шкуре одного из Данбаров, и неизменно улыбался, каково бы ни пришлось. А еще он пристрастился к этим средам на Бернборо и к мальчишкам, глазеющим с забора. Ему нравилось, что у них они – главное событие середины недели, а для Клэя – лишняя тренировка.

– Ну что, сукины дети, кто первый? Десятку на базу или пошел на хер!

Он вспрыгнул на щелястую скамью.

Тут посыпались ставки, кто сколько: от 2:17, 3:46, потом гулкое 2:32. Обломком зеленого мелка Генри записывал время и имена на бетоне прямо под ногами; рядом со ставками прошлых недель.

– Ну ладно, давай уже, Пакет, сколько можно.

Пакет, также известный как Вонг, или Курт Вонгдара, уже давно мучительно решал. Он мало к чему относился серьезно, но, похоже, ставки были одной из таких материй.

– Ладно, – вымолвил он. – Если там Старки, пусть будет, мать его, пять одиннадцать.

– Господи.

Генри улыбнулся, не поднимаясь с корточек.

– И помните, парни, никаких передумываний, и таблицу не трогать.

Он что-то заметил.

Кого-то.

Дома, на кухне, они разминулись лишь на несколько минут, но теперь он его видел – четко и без всякого сомнения: волосы как темная ржавчина, и глаза как свалка металлолома, жует резинку. Генри просиял.

– Что такое?

Общее недоумение, хор:

– Что там? Что за...

И Генри мотнул, указывая, головой, в тот самый миг, когда среди меловых строчек упало слово:

– Джентльмены...

На какой-то миг у всех на лицах проступило «Ох ты, черт!», что стало бесценным зрелищем, а через секунду все кинулись хлопотать.

Срочно менять ставки.

Сигнальный дым

Ну что ж, значит, так тому и быть.

С него хватит.

Мрачный, виноватый, пристыженный, Убийца принял решение; мы можем его ненавидеть, но не можем игнорировать. Вместе с тем его следующий шаг уже напоминал знак вежливости – раз уж он проник в дом без разрешения, предупредить нас он был просто обязан.

Он переложил Гектора со своих колен. Подошел к пианино.

Он не стал поднимать крышку клавиатуры (у него нипочем не хватило бы духу), а открыл инструмент сверху, но то, что он нашел внутри, было, наверное, еще хуже – там, на струнах, лежали две книги в антрацитовых обложках и старое синее шерстяное платье. В кармане платья – пуговица от него, и то, за чем Убийца туда полез: пачка сигарет.

Он медленно вынул ее.

И сложился вдвое.

Ему стоило труда подняться и распрямиться.

Стоило труда закрыть пианино и перейти на кухню. Из ящика со столовыми приборами он выудил зажигалку и стал перед Ахиллесом.

– Провались оно!

Он впервые отважился открыть рот. Теперь он понял, что мул не собирается нападать, поэтому Убийца закурил и шагнул к раковине.

– Раз уж я тут, чего бы посуду не помыть.

Идиоты

Внутри стены раздевалки покрывали жалкие граффити – работы любителя, не вызывавшие ничего, кроме неловкости. Клэй сидел босиком, не замечая их. Перед ним Томми вычесывал из спутанной шерсти на животе Розы травинки, но вскоре собака перевернулась. Он осторожно взял в ладонь ее нос.

– Данбар.

Как и ожидалось, в раздевалке были еще шестеро мальчишек, каждый в собственном небольшом облаке настенной росписи. Пятеро болтали и шутили между собой. Шестой выделялся перед подругой: хамоватый малый по прозвищу Старки.

– Эй, Данбар.

– Что?

– Да не ты, Томми, имбецил несчастный.

Клэй обернулся.

– На!

Старки швырнул моток малярного скотча, угодив Клэю прямо в грудь. Скотч упал на пол, Розы тотчас схватила его в пасть и не выпускала. Клэй смотрел, как она борется с рулоном, а Старки пустился разглагольствовать:

– Чтобы у тебя уж не было никаких оправданий, когда я тебя просто уделаю на дорожке. Ну и потом, у меня остались колоритные воспоминания, как ты мотал эту липкую херню, когда мы были помладше. Там полно битого стекла. Не хотелось бы, чтобы ты изранил свои прекрасные ножки.

– Ты сказал «колоритные»? – не поверил Томми.

– А что, раз гопник, так и слов не знает? Я еще сказал «имбецил», что идеально описывает таких, как ты.

Старки и его девице это явно пришлось по вкусу; Клэю девица поневоле нравилась. Он отметил ее помаду, ее мрачную усмешку. Еще ему нравилась бретелька лифчика, как та перекрутилась у нее на плече. Его не раздражало, как эти двое трогали друг друга и как бы обмазывали – ее промежность на бедре Старки, она оседлала его ногу. Это было любопытство, не больше того. Во-первых, она не Кэри Новак. Во-вторых, все это не имело к его личности никакого отношения. Для тех, снаружи, ребята в раздевалке были шестеренками чудесной шарманки: грязноватого развлечения. Для Клэя все они были товарищи, участники общего плана. Сильно ли они смогут его отметить? До какой степени ему удастся уцелеть?

Клэй знает, что вот-вот им выходить на дорожку, и потому откидывается, закрывает глаза и представляет рядом с собой Кэри, тепло и сияние ее плеч. Веснушки на ее лице как булавочные уколы – такие глубокие и алые, но тоненькие – как график или, еще лучше, головоломка соедини-по-точкам для первоклассника. На коленях у нее – книга в светлой обложке, которую они читают вместе, с бронзовыми осыпающимися буквами: «Каменотес».

Ниже заглавия написано: «Все, что вы хотели знать о Микеланджело Буонаротти, – неиссякаемый карьер гения». Внутри, в самом начале – краешек отрезанной страницы, той, где были сведения об авторе. Закладка – недавний билетик на тотализатор:

Роял-Хеннеси, скачка 5

№ 2 Матадор

Только выигрыш: \$1

Вскоре она поднимается и наклоняется к Клэю.

С любопытной, как всегда, улыбкой человека, ко всему обращенного лицом. Наклоняется ближе и приступает: прикасается нижней губой к его верхней, выставляя перед собой книжку.

– Тогда он и понял, что это и есть мир, а все сущее в нем – образ.

Цитируя любимое место, она касалась губами его губ – три раза, четыре, а вот и пять – и потом, чуть отстранившись:

– В субботу?

Кивок, потому что в субботу вечером, всего через три дня, они и правда встретятся на другом его любимом заброшенном стадионе. Который называется Окружность. Там, на поле, они лягут рядом. Прясть ее волос будет щекотать его час за часом. Но он так и не отведет волосы, не поправит.

– Клэй...

Она растворяется.

– Пора.

Но ему не хочется открывать глаза.

Тем временем парень с зубами, как у зайца, по кличке Хорек ждал снаружи, а Рори, как всегда – внутри. Всякий раз как он, по старой памяти, появлялся здесь, так все и шло.

Он прошагал по тоннелю и вошел в унылую раздевалку, и даже Старки перестал хвастать своей девушкой. Крепко прижав палец к губам, Рори встрепал Томми волосы, почти зло, и предстал перед Клэем. Он оглядел его, невозмутимо улыбаясь, своими бесценными глазами цвета битого железа.

– Эй, Клэй.

Но не смог удержаться.

– Все страдаешь херней, а?

И Клэй улыбнулся в ответ, пришлось.

Улыбнулся, но не поднял глаз.

– Готовы, парни?

Генри, с секундомером в руке, принес весть.

Клэй поднялся на ноги, Томми задал вопрос: все это было частью ритуала. Он небрежно показал Клэю на карман:

– Хочешь, я пока подержу у себя?

Клэй ответил, не сказав ни слова.

Ответ был всегда один.

Он даже не покачал головой.

Мгновением позже они оставили граффити за спиной.

Вышли из тоннеля.

Прорисовались на свету.

У выхода собралось приблизительно два десятка идиотов, примерно поровну по обеим сторонам, хлопая выходящим. Идиоты аплодируют идиотам – грандиозно. То, что это сборище умело лучше всего.

– Вперед, парни!

Доброжелательные выкрики. Плеск ладоней.

– Жми, Клэй! Газ до отказа, малыш!

Позади трибун не гас желтый свет.

– Не убей его, Рори!

– Вмажь ему покрепче, Стархер, сука страхолюдная!

Смех в толпе. Старки придержал шаг.

– Эй.

Он указал на кого-то пальцем и процитировал из кино:

– Пожалуй, потренируюсь сперва на тебе.

Он ничуть не возражал против «страхолюдной суки», но стерпеть «стархера» не мог. Обернувшись, Старки увидел, как его подруга смело лезет вверх по щелястым скамьям. Ей не было дела до всей этой шпаны: разумеется, и одного хватало с лихвой. Старки поволок дальше свой мощный корпус, догоняя остальных.

Они ненадолго задержались у старта, затем пацаны из раздевалки разбрелись по дорожке. В первой тройке были Селдом, Магуайр и Жестянка: двое проворных и сильных и третий – здоровенный кабан, чтобы его задавить.

Парой на метке 200 встанут Шварц и Старки, из которых один – безупречный джентльмен, а второй – настоящее животное. Со Шварцем, однако, имелась одна беда: абсолютный, непреклонный рыцарь, в состязании он будет громом и молнией. После – ослепительные улыбки и похлопывания по плечу. Но возле метательного сектора он шарахнет, как локомотив.

Игроки тоже пришли в движение.

Они потекли наверх, на последние ряды трибун, чтобы видеть и дальнюю часть круга.

Пацаны на дорожке готовились.

Стучали кулаками по квадрицепсам. Растягивались, шлепали себя по плечам.

На стометровой отметке мальчишки встали через дорожку друг от друга. Их окружало сияние, их ноги полыхали. На фоне заходящего солнца.

На двухстах Шварц катал голову от плеча к плечу. Светлые волосы, светлые брови, сосредоточенный взгляд. Рядом с ним Старки сплевывал на дорожку. Баки у него сальные и настоженные, торчат перпендикулярно щекам. Волосы как придверный коврик. И снова уставился вдаль, сплюнул.

– Эй, – окликнул Шварц, но Старки не отводил глаз от стометрового рубежа.

– Да в секунду докатит.

– И что?

И, наконец, последним на прямой, метрах в пятидесяти от финиша, стоял Рори, беспечный, будто у подобного занятия есть собственная логика: и все именно так и должно идти.

Платок факира

Наконец, рокот мотора: хлопок дверцы как щелчок степлера.

Он пытался разогнать дым ладонью, но пульс Убийцы колотился немного сильнее, особенно чувствительно – в шее. Он запаниковал и уже готов был просить Ахиллеса пожелать ему удачи, но теперь уже мул и сам казался беззащитным: фыркнул и стукнул копытом.

Шаги на крыльце. В скважину вошел ключ и повернулся. Я моментально учуял дым.

На пороге с моих губ безмолвно посыпался длинный список проклятий. Бесконечная, как платок факира, леска изумления и ужаса, а за ней еще многие мили нерешительности и пара бескровных рук. Что я делаю? Чем я, черт побери, занят?

Сколько я здесь простоял?

Сколько раз я думал развернуться и выйти?

На кухне (как я узнал много позже) Убийца тихо поднялся на ноги.

Вдохнул зной. Благодарно посмотрел на мула.

Не вздумай теперь меня покинуть.

Улыбака

– Три... два... один... пошел!

Щелчок секундомера, и Клэй взял старт.

В последнее время они только так и делали: Генри нравилось, как в телике стартуют горнолыжники вниз со склона, и здесь он внедрил похожий метод.

Как всегда, к началу отсчета Клэй еще был не у черты. Бесстрастный, с каменным лицом, босые ноги в отличном тонусе. На «пошел» они славно оттолкнулись от стартовой линии. И только начав бег, он ощутил пару кусающих и жгучих слезинок, набежавших под веки. И лишь в тот момент он сжал кулаки: вот теперь он готов, готов к этой бригаде идиотов, к этому восхитительно подростковому миру. Больше он никогда его не увидит и не станет вновь его частью.

Бурьян под ногами разлетелся налево и направо, отскакивая с его пути. И даже дыхание, казалось, вылетало из его горла, чтобы только сбежать. Но на его лице по-прежнему не было никаких эмоций. Только две изогнутые слезные дорожки, сохнувшие, пока он вбегает в поворот навстречу Селдому, Магуайру и Жестянке. Клэй знал, как их разрубить. Всего иного у него было по одному, по два, но локтей – тысяча.

– А ну.

Они деловито сомкнулись.

Они заступили ему путь на четвертой дорожке, с тошнотворным потом, с запястьями, а его колени и бедра все бежали, наискось в воздухе. Разгон, однако, помог. Правая рука Клэя врылась в резину, затем колено, и он перебросил Магуайра через спину; тот заслонил лицо Селдома. Через мгновение Клэй увидел, что бедняга вот-вот разрывается, и уложил, впечатал его рядом.

Тут уж со слоновьим топотом подскочил шарообразный Брайан «Жестянка» Белл – носивший еще второе прозвище – Мистер Пухлый. Кулак у горла, мясистая грудь прижалась сзади. Он прошептал горячо и хрипло: «Я тя уделал». Клэю не нравилось, когда ему так шепчут. И его особо не заботило это «уделал», и очень скоро Жестянка жалким мешком лежал в бурьяне. Мешком с кровоточащим ухом.

– Твою!..

Парень был таков.

Да, про Жестянку можно было забыть, но те двое вернулись на рубеж – один битый, второй целый: им не хватило. Клэй поднажал. Усилил мах. Выбежал на обратную прямую.

Теперь он сканировал следующих двух, а те не ждали его так быстро.

Шварц принял стойку.

Старки опять плюнул. Не парень, а фонтан какой-то. Горгулья!

– Давай!

Какая-то зверушка в гортани Старки издала боевой клич. Сам-то он должен был знать, что Клэя этим не испугаешь и не раззадоришь. Позади, сутулясь, стояли ребята из первой тройки, одни расплывчатые силуэты, и Клэй резко качнулся в сторону, потом в другую. Он целил больше в Старки, который теперь не плевался, а вращался на месте. Он едва успел зацепить пальцем самый краешек резинки трусов Клэя, но тут, разумеется, налетел Шварц.

Как и было обещано, Шварц снес его, как локомотив. Экспресс на 2:13.

Его аккуратная челка выплеснулась через край в тот миг, когда он вжал Клэя наполовину в дорожку номер один, наполовину в стену бурьяна, и Старки догнал их на четвереньках. Своей порослью на щеках он вспорол Клэю скулу. Он даже поймал его в захват, пока они лягались

и вбивались в землю, с кровью, с рывками, с пивным дыханием Старки. (Боже, бедная девица на трибунах.)

Их пятки колотились о тартан, как при удушении.

Казалось, через много миль с трибун долетела жалоба:

– Не видно ни хера!

Если бы на поле еще хоть на мгновение затянулось, пришлось бы им бежать до поворота.

На газоне Бернборо-парка было много возни, но Клэй всегда находил способ вырваться. Для него в конце не могло быть ни выигрыша или проигрыша, ни времени, ни денег. И не важно, сильно ли его поломают: никто его не ломает. И, как бы крепко ни держали, не удержат. Ну или, по крайней мере, никто его не доломает.

– Колено прижми!

Здравый совет от Шварца, но поздно. Свободное колено – это свободный Клэй, и он сумел оттолкнуться, перескочить сто кило под ногами и рвануть вперед.

С трибун раздалось гиканье и свист.

Толпа прозвищ повалила вниз, с трибун к дорожкам. С этого расстояния их вопли слышались невнятно и глухо – больше похоже на песни в его комнате, когда задует ночной южак, – но они там были, само собой, как и Рори.

Сто пятьдесят метров Клэй не делил глинисто-красную дорожку ни с кем. Сердце его лязгало, сухие дорожки слез крошились и рассыпались.

Он бежал в гаснущем свете, в его упрямых, кряжистых лучах.

Смотрел на свои ступни, топчущие упругое полотнище дорожки.

Он бежал под ободряющие крики пацанов из подтрибунной тени. Где-то там была и та краснотелая девица с бесшабашным своенравным плечом. В этой мысли не было никакого вожделения, только прежняя нить легкого развлечения. Клэй намеренно подумал о девице, потому что скоро придется терпеть. И не важно, что он проходит свой круг быстрее, чем когда-либо. Впустую. Это все ни к чему, потому что там, за пятьдесят метров до финиша, стоит, как молва, Рори.

Подбегая, Клэй понимал, что надо действовать решительно. Колебания его погубят. Неуверенность смерти подобна. Незадолго до того, как они встретились, где-то на самом краю зрения, справа, маячила россыпь криков плотностью в двадцать четыре пацана. Эти черти почти разломали трибуну, а перед ними – видение Рори. Типично рваное и корявое.

А Клэй?

Он задавил в себе всякие порывы сдвинуться на шаг вправо или влево. Он практически избежал на брата и как-то сумел прорваться. Он осязал всю анатомию Рори: его любовь и восхитительный гнев. Происходит столкновение мальчика с землей – и теперь лишь ступня Клэя в ловушке. Рука, захватившая в локтевой сгиб его лодыжку – теперь единственное, что преграждает Клэю путь к тому, что долго считалось недостижимым. Рори нельзя пройти. Никак. Однако вот Клэй тащит его за собой, складывается пополам, пытаясь отцепить. Плечо и локоть у него деревенеют, но вдруг в нескольких дюймах от лица Рори, как титан из пучины, возникает рука. Рукопожатие из ада: без особого усилия он сокрушает пальцы Клэя и таким образом распарывает его сверху вниз.

В десяти метрах от финиша Клэй окончательно заваливается на дорожку; а что это случилось у Рори с невесомостью? В этом состояла ирония его прозвища. Человек-гиря наводит на мысли о неподъемной тяжести – но смотрите, Рори больше похож на легкую дымку. Ты оборачиваешься, и он перед тобой, но выброси руку – и там уже ничего нет. Рори уже в другом месте, угрожает тебе впереди. Только одно в нем имело массу и вес – дебри и ржа волос, да жесткие, будто серый металл, глаза.

Теперь он уже крепко прижимал Клэя к красному, ушедшему в землю тартану. К ним спускались голоса – голоса мальчишек со складывающихся небес:

– Давай, Клэй. Боже мой, десять метров, ты почти добежал.

Томми:

– Клэй, что бы сделала Золя Бадд? Что бы сделал Летающий Шотландец? Загони его за линию!

Рози взлаяла.

Генри:

– А он тебя удивил, а, Рори?

Рори, подняв взгляд, хитро улыбнулся одними глазами.

Еще голос не из Данбаров, к Томми:

– Что за дьявол эта Золя Бадд? Ну и Летучий Шотландец тоже?

– Летающий.

– Хрен с ним.

– Эй, заткнитесь там, а? Тут месилово идет!

Так бывало часто, когда вспыхивала борьба.

Мальчишки, цепenea, смотрели и жалели в душе, что у них самих для такого кишка тонка, но при том были дьявольски благодарны, что это не они там валяются. Такие разговоры служили мерой безопасности, ведь от этих, вырезанных на дорожке, с бумажными легкими и бумажным дыханием, веяло чем-то жутковатым.

Клэй извивался. Но Рори не отпускал.

Только раз, через несколько минут, Клэю почти удалось высвободиться, но и тогда ему не дали уйти. Теперь он уже видел финишную черту, казалось, уже чувствовал запах краски.

– Восемь минут, – сказал Генри. – Эй, Клэй, хватит, может?

Выстроился не ровный, но явный коридор: они знали, как оказать уважение. Если бы кто-то из зрителей вынул телефон, снимать видео или сфотографировать, на него тут же накинись бы и как следует врезали.

– Эй, Клэй.

Генри, чуть громче.

– Харэ?

Нет.

Как всегда, это было сказано без слов: он просто не улыбался.

Девять минут, десять, потом и тринадцать, и Рори уже подумывал его придушить, но тут на подходе к пятнадцатой минуте Клэй наконец сник, откинул голову назад и едва заметно усмехнулся. Слабым утешением сквозь частокол мальчишечьих ног он увидел там, дальше, в тени девицу с бретелькой от лифчика и всем прочим, и Рори выдохнул: «Слава богу». Он откатился в сторону, и на его глазах Клэй – кое-как, с одной здоровой рукой, а другой обвисшей, перетасил себя через черту.

Музыка убийцы

Я взял себя в руки.
Решительно вошел на кухню – там подле холодильника стоял Ахиллес.
Возле башни из чистых тарелок я переводил взгляд с Убийцы на мула и обратно, решая,
с кого начать.
Меньшее из зол.
– Ахиллес, – сказал я.
В моих раздражении и негодовании должны были читаться воля и власть.
– Господи боже, опять, что ли, эти уродцы не заперли заднюю дверь?
Мул, верный природе, не повел и ухом.
С утомленной прямоотой он задал свои обычные два вопроса.
Что?
Что здесь такого странного?
И он был прав: такое происходило уже в четвертый или пятый раз за месяц. Наверное,
почти рекорд.
– А ну, – сказал я, быстро выволакивая его за гриву.
В дверях я обернулся к Убийце.
Обернулся, но не проявил эмоций:
– К твоему сведению, ты следующий.

Как ураган

Город темный, но живой.

В машине, полной народу, тишина.

Ничего не осталось, кроме дороги домой.

Перед этим было выставлено пиво, на всех вкруговую. Селдом, Жестянка, Магуайр.

Шварц и Старки.

Все они получили немного денег, даже малый по прозвищу Короста, поставивший на четырнадцать минут ровно. В ответ на ликование ему посоветовали потратиться на пересадку кожи. Остальное досталось Генри. Все это проделывалось под розово-серым небом. Лучшее граффити в городе.

В какой-то момент Шварц рассказывал о хитростях с плевками на двухстах метрах, и тут девица задала вопрос. Она зависла со Старки на паркинге.

– Что у этого парня с кукушкой?

Но это был еще не вопрос по вопросу: тот появится через несколько мгновений. Весь этот бег. Весь этот махач.

Девица подумала и скривилась:

– Что это вообще за игра такая дурацкая? Вы тут все придурки.

– Придурки, – повторил Старки. – Ну спасибо.

Он приобнял ее, будто услышал о себе приятное.

– Эй, милашка!

Это Генри.

Девица и горгулья разом обернулись, и Генри завернул улыбку.

– Это не игра, а только тренировка!

Она уперла руку в бедро – и вы догадались, что она спросила, эта девица с перекрученной бретелькой. Генри тут же постарался блеснуть:

– Ну что, Клэй, просвети нас. За каким чертом ты тренируешься?

Но в этот раз Клэй отвлекся от ее плеча. Он чувствовал пульс в ссадинах на скуле – по милости бакенбардов Старки. Здоровой рукой пошарил в кармане, как-то неестественно, затем сел на корточки.

Теперь уже можно сказать: для чего тренировался наш брат, было такой же загадкой и для него самого. Он знал лишь, что работает и готовится ради какого-то дня, который однажды он узнает, – а этот день, как оказалось, уже пришел. Он ждал Клэя дома на кухне.

Кэрбайн-стрит и Эмпайр-лейн, затем длинная Посейдон.

Клэю всегда нравилось ехать домой этой дорогой.

Ему нравились мотыльки, высоко и тесно клубившиеся вокруг разных уличных фонарей. Он раздумывал, возбуждает ли их ночь или успокаивает и умиротворяет; но в любом случае ночь давала им цель. Эти мошки знали, что им делать.

Скоро уже въехали на Арчер-стрит. Генри: за рулем, правит одной рукой, улыбается. Рори: закинул ноги на торпеду. Томми: полусонный, привалился к высунувшей язык Розы. Клэй: не ведающий, что день настал.

Наконец, Рори не выдержал покоя:

– Блин, Томми, этой псине обязательно так громко, сука, пыхтеть?

Трое посмеялись, кратко и смачно.

Клэй смотрел в окно.

Может, Генри подошло бы вести машину как попало, лихо подлететь к дому, но было совсем не так.

Включенный у дома соседки миссис Чилман поворотник.

Плавный поворот – настолько ловкий, как только позволила машина.

Фары погасли.

Дверцы распахнулись.

Лишь одно потревожило царивший вокруг покой: как они закрыли машину. Четыре быстрых хлопка расстреляли дом – и все двинулись напрямик на кухню.

Они толпой шли через лужайку.

– Кто-нибудь из вас, уродцев, знает, что на ужин?

– Остатки.

– Да, так и есть.

Их ступни разом вспахали крыльцо.

– Пришли, – сказал я. – Так что готовься сматываться.

– Понимаю.

– Ничего ты не понимаешь.

В ту секунду я пытался разобраться, почему все же его не выгнал. Всего несколько минут назад, когда он сообщил мне, зачем приехал, мой голос, отрикошетив от тарелок, впился Убийце прямо в горло:

– Ты хочешь – что?

Может, я почувствовал, что шестерни уже пришли в движение: это все равно должно произойти, и если должно сейчас, пусть так. Кроме того, несмотря на жалкий вид, я почувствовал в Убийце и кое-что иное. В нем чувствовалась решимость, и, конечно, вышвырнуть его вон было бы такое удовольствие – эх! Схватить за локоть. Поднять на ноги. Выпихнуть за дверь. Иисусе Сладчайший, это было бы упоительно! Но это поставило бы нас под удар. Убийца может явиться вновь, пока меня не будет.

Нет. Лучше уж так.

Самый верный способ покончить с этим – собраться нам всем пятерым, продемонстрировать силу.

Ладно, стоп.

Уточним: четверым и одному предателю.

На сей раз все случилось моментально.

Днем Генри и Рори, видимо, не почуяли опасности, но теперь дом пропитан этим ощущением. В воздухе повисла распря и запах сигаретного дыма.

– Шш.

Генри махнул рукой назад и зашептал:

– Внимание.

Они вошли в коридор.

– Мэтью?

– Сюда.

Меланхолический и густой, мой голос все подтвердил.

Несколько секунд все четверо переглядывались, встревоженные, растерянные, и каждый рылся в своем внутреннем справочнике: что положено делать дальше?

Снова Генри:

– Мэтью, ты там жив?

– Все шикарно, идите сюда.

Они пожали плечами, развели руками.

Теперь у них не осталось причин не войти, и один за другим они оказались на кухне, где лился свет, будто устье реки. Он сменился с желтого на белый.

А там я стоял возле раковины, сложив руки на груди. Рядом – стопка тарелок: чистые, сияющие, как редкий, дикий экспонат в музее.

Слева от них, за столом, сидел он.

Боже мой, вы это слышите?

Их сердцебиение?

Кухня превратилась в отдельный небольшой континент, и четверо мальчишек стояли на ничейной земле, как бы перед большим переселением. Они прошли к раковине, и мы сбились там в кучу, тесно, и Розы, откуда ни возьмись, с нами. Забавно, кстати, как оно у мальчишек: мы не боялись касаться друг друга: плечами, локтями, костяшками, спинами – и все смотрели на нашего убийцу, одиноко сидевшего за столом. В полном смятении.

Что нам было думать?

Пятеро юнцов, и перепутанные мысли, и Розы, показывающая зубы.

Да, собака на уровне инстинкта поняла, что его надо презирать, именно Розы нарушила молчание: зарывав, она двинулась на Убийцу.

Я поднял ладонь, спокойно и недобро.

– Розы.

Она замедлила шаг.

Тут Убийца открыл рот.

Но не издал ни звука.

Свет асприново-бел.

И тут кухня стала распахиваться, по крайней мере, для Клэя. Остальные части дома разломались, а двор провалился в ничто. Город, и пригороды, и все заброшенные стадионы снесены и сорваны одним апокалиптическим взмахом – чернота. Для Клэя осталось только здесь, кухня, однажды вечером выросшая из комнаты в континент, и вот.

Мир со столом и тостером.

Из братьев и пота возле раковины.

Тяжелая погода не изменилась: атмосфера горячая и сыпучая, как воздух перед ураганом.

Будто от мыслей об этом лицо Убийцы казалось далеким, но вскоре он подтащил его ближе. Пора, подумал он, пришло время действовать, и он начал, через гигантское усилие. Он поднялся на ноги, и было что-то устрашающее в его горечи. Этот момент он прокручивал в уме тысячи раз, но явился пустым. Он был оболочкой всего. С тем же успехом он мог вывалиться из шкафа или выползти из-под кровати.

Кроткий и растерянный монстр.

Ночной кошмар, внезапно свежий.

Но потом – с нас резкохватило.

Безмолвное заявление сделано, и добавить еще хоть секунду к годам постоянного страдания было уже невмочь: цепь треснула, затем рассыпалась. Наша кухня видела все, что только могла выдержать в тот вечер, и на этом месте она застряла: пятеро сплотились против него. Пятеро парней стояли стеной, но один из них отделился и стоял, открывшись – он больше не касался никого из братьев, – и ему это одновременно нравилось и казалось в тягость. Он шел на это, он жалел об этом. Не оставалось ничего, только сделать шаг, к единственной черной дыре этой кухни; он вновь полез в карман и когда вынул его содержимое, то это оказались обломки: он показал их на вытянутой ладони. Теплые красные кусочки пластмассы – осколки раздавленной бельевого прищепки.

И что после этого ему оставалось?

Клэй заговорил, его голос в тишине, из темноты – на свет:

– Привет, пап.

Часть вторая. Города+воды

Девочка-сбивашка

Когда-то, в приливе прошлого Данбаров, была одна женщина, носившая много имен – и что за женщина то была!

Во-первых, имя, полученное ею при рождении: Пенелопа Лещчушко.

Затем то, которым ее окрестили за пианино: Девочка-сбивашка.

В дни перехода ее называли Деньрожденницей.

Сама она присвоила себе прозвище Невеста-Сломанный-Нос.

И, наконец, последнее имя, с которым она умерла: Пенни Данбар.

Так совпало, что приехала она из мест, лучше всего описанных фразой из книг, на которых она выросла.

Она приехала из пустыни бесплодного моря.

Много лет назад, и как многие и многие прежде нее, она приехала с чемоданчиком и смятым взглядом.

Ее изумил здешний громящий свет.

Этот город.

Он был таким горячим, и широким, и белым.

Солнце было каким-то варваром, викингом в небесах.

Оно грабило, оно раздевало.

Оно накладывало лапы на все – от самых высоких бетонных шпилей до едва заметных клочков пены на волнах.

В ее прежней стране, в Восточном блоке, солнце было игрушкой, вещичкой. Там, в далекой земле, ненастье и дожди, лед и снег – они распоряжались, а не смешной желтый колобок, иногда показывавшийся людям: теплые дни отпускались по карточкам. Даже самые сухие и голые дни могла навестить сырость. Тихий дождик, мокрые ноги. Коммунистическая Европа на медленном спуске с пере-вала.

Во многих смыслах это ее определило. Застенчивую. Одиночку.

Или, точнее будет сказать, одинокую.

Она никогда не забудет, как сошла на эту землю в полной панике.

Сверху, из самолета, заложившего круг, казалось, что город – в полной власти воды здешнего сорта (соленой), но на земле очень скоро пришлось почувствовать всю мощь его истинного угнетателя: лицо моментально покрылось испариной. Она стояла на улице в стае, или стаде, нет, в груди настолько же перепуганных и липких людей.

После долгого ожидания всю толпу куда-то погнали. Завели на какой-то перрон под крышей. Все лампы были люминесцентными. Воздух раскален от пола до потолка.

– Имя?

Молчание.

– Паспорт?

– *Przepraszam*?²

– Ос-споди.

² Извините (польск). – Здесь и далее прим. переводчика.

Человек в форменной рубашке, встав на цыпочки, принялся высматривать кого-то поверх голов и орды свежих иммигрантов. Какое скопище унылых, изжаренных зноем лиц! Увидел нужного парня.

– Эй, Джордж! Бильски! Тут по твоей части!

Но женщина, которая в свои почти полные двадцать один выглядела на шестнадцать, крепко вцепилась в его лицо. Она так сжимала свою серую книжицу, будто хотела удушить ее края.

– Паспорт.

Улыбка: мол, сдаюсь.

– Ладно, милая.

Он развернул документ и попробовал распутать фамилию-ребус.

– Лесказна... как?

Пенелопа выручила, застенчивая, но отважная:

– Лещ-чуш-ко.

Она никого там не знала.

Люди, с которыми она девять месяцев прожила в лагере в австрийских горах, разлетелись кто куда. Они, семья за семьей, отправлялись на запад через Атлантику, но путь Пенелопы Лещчушко лежал дальше; и вот она оказалась здесь. Оставалось только добраться до лагеря, выучить английский, найти работу и жилье. А потом, самое важное, купить книжную полку. И пианино.

Только этих немногих вещей она хотела от нового мира, обжигающего, распластанного перед ней, и со временем она их получила. Успешно получила и их, и многое другое.

Не сомневаюсь, в этой жизни вы встречали таких особых людей и, слушая истории об их незадачливости, гадали, чем же они такое заслужили.

Наша мать, Пенни Данбар, была из них.

Но дело в том, что она никогда не признала бы себя невезучей: убирая за ухо прядь светлых волос, она сказала бы, что ни о чем не жалеет – что обрела много больше, чем за всю жизнь потеряла, и в глубине души я с этим согласен. Но я понимаю и то, что невезению всегда удавалось ее найти, как правило, в важные моменты жизни.

Ее мать умерла, рожая ее.

Накануне собственной свадьбы Пенелопа сломала нос.

И наконец, разумеется, умирание.

Как она умирала, это надо было видеть.

Ее появлению на свет мешали годы и гнет: родители были уже довольно пожилыми для деторождения, и после нескольких часов схваток и хирургической операции оболочка ее матери лежала вдребезги разбитая и мертвая. Отец, Вальдек Лещчушко, остался разбитым, но живым. Он воспитал ее как мог. Вагоновожатый по профессии, он обладал многими чертами и странностями, и его сравнивали не с живым Сталиным, а с его статуей. Может, дело было в усах. Может, не только в них. Вполне возможно, дело было в его суровости или в его молчаливости, ведь его молчание было великанским.

Между тем, для близких было в нем и другое, например, тридцать девять, общим счетом, его книг, из которых две стали его манией. Может, оттого, что он вырос в Щецине, на Балтике, может, оттого, что любил греческие мифы. Так или иначе, а он раз за разом к ним возвращался – к двум эпическим поэмам, герои которых бороздили морскую гладь. На кухне, там они стояли, в середине, на покоробившейся, но длинной книжной полке, под литерой «ха»: «Илиада». «Одиссея».

Другие дети засыпали под сказки о щенятах, котятах и пони, а Пенелопа росла с быстрым Ахиллесом, хитроумным Одиссеем и всеми остальными именами и прозвищами.

Среди них Зевс-тучегонитель. Улыбколюбивая Афродита.
Мужеубийца Гектор.

Ее «крестная» – терпеливая Пенелопа.

Сын Одиссея и Пенелопы – рассудительный Телемах.

И всегда один из ее любимцев – Агамемнон, царь мужей.

Много-много ночей, лежа в кровати, она уплывала куда-то на гомеровских образах, раз за разом повторявшихся. Снова и снова ахейцы спускали корабли в винноцветное море или вступали в его бесплодную пустыню. Они плыли к розовоперстой заре, и девочку это захватывало: ее бескровное лицо озарялось. Голос отца накатывал затихающими волнами, пока она наконец не засыпала.

Троянцы, наверное, вернутся завтра.

А кудреглавые ахейцы и на следующий вечер вновь соберут и выведут в море корабли, чтобы ее увезти.

А кроме этого, Вальдек Лещчушко привил своей дочери еще одно полезное для жизни умение: научил ее играть на фортепиано.

Понимаю, что вы можете подумать.

Наша мать получила основательное образование.

Памятники античной литературы перед сном?

Занятия классической музыкой?

Но нет.

Это были осколки другого мира, иного времени. Скромная подборка книг – едва ли не единственное наследство. А пианино выиграно в карты. Но ни Вальдек, ни Пенелопа тогда не знали, что эти две вещи все решат.

Они будут все больше сближать девочку с отцом.

А затем отошлют прочь навсегда.

Жили в квартире на третьем этаже.

В квартале, неотличимом от других.

Издалека это была светящаяся точка в бетонном Голиафе.

Вблизи – бедность, но закрытая от всех.

У окна стояло пианино – черное и рыжевато-коричневое одновременно и гладкое как шелк, – и в урочное время, по утрам и вечерам, старик садился вместе с ней к инструменту, сохраняя суровый и уверенный вид. Его обездвиженные усы стояли лагерем между носом и ртом. Шевелился он лишь для того, чтобы перевернуть ей страницу.

А уж Пенелопа, та играла, не отрывая напряженного взгляда от нот, не мигая. Сначала детские песенки, потом, когда отец посылал ее на уроки, которые были ему не по карману, появились Бах, Моцарт и Шопен. Зачастую за все время занятия успевал моргнуть лишь только мир за окном. Он менялся, из морозного становился ветреным, из ясного пасмурным. Девочка, приступая, улыбалась. Отец откашливался. Метроном пускался шелкать.

Иногда она слышала дыхание отца, где-то внутри музыки. И вспоминала, что он живой человек, а не статуя, над которой шутят. И даже когда она чувствовала, как закипает отцовский гнев на очередной ее набег ошибок, отец застревал где-то между каменным лицом и полновесной яростью. Ей хотелось бы, чтобы учитель разок взорвался – хлопнул себя по ляжке или потянул за стареющий бурелом волос. Ни разу. Он только принес домой еловую лапу и хлестал ей по пальцам расчетливыми взмахами всякий раз, как она роняла руки или сбивалась. Однажды зимним утром, еще когда Пенелопа была бледным и угловатым ребенком, она получила ею двадцать семь раз за двадцать семь музыкальных грехов. И отец дал ей прозвище.

В конце занятия за окном сыпал снег, а он остановил игру, взял ее руки, исхлестанные, маленькие и теплые, в свои. Сжал мягко пальцами-обелисками.

– *Juz' wystarczy*, – сказал он, – *dziewczyna błędów*³... что она перевела для нас как «Ну, хватит, девочка-сбивашка».

Ей тогда было восемь лет.

А когда исполнилось восемнадцать, отец решил ее отослать.

Проблемой, конечно, был коммунизм.

Бесспорно великая идея.

С бессчетными оговорками и брешами.

Пенелопа росла, ничего этого не замечая.

А какой ребенок замечает?

Ей не с чем было сравнивать.

Много лет она не понимала, насколько это были подконвойные время и место. Не видела, что при всеобщем равенстве на самом деле равенства нет. Она ни разу не подняла взгляд на бетонные балконы и на людей, наблюдающих оттуда.

Политика властей становилась все мрачнее: правительство лезло во все, от работы и бумажника до того, как ты думал и верил – или, по крайней мере, говорил, что думаешь и веришь; и если возникало малейшее подозрение в твоей причастности к движению – к «Солидарности», – можно было не сомневаться, что ты за это заплатишься. Люди, как я сказал, наблюдали.

По правде сказать, это всегда была суровая страна, а еще – печальная страна. Земля, в которую захватчики беспрерывно приходили со всех сторон и во все века. Но если бы пришлось выбрать одно, ты сказал бы, что она скорее суровая, чем печальная, и коммунистические годы ничего не изменили. В конце концов, это было время, когда ты постоянно переходил из очереди в очередь за всем: от лекарств до туалетной бумаги и тающих запасов продовольствия.

А что оставалось людям?

Они стояли в очереди.

Ждали.

Температура падала ниже нуля. Это ничего не меняло.

Люди стояли в очереди.

Ждали.

Потому что не оставалось ничего другого.

* * *

Что вновь возвращает нас к Пенелопе и ее отцу.

Для девочки все это было не так уж важно, или, по крайней мере, пока не важно.

У нее было детство, вот и все.

Пианино, и заледенелая детская площадка, и Уолт Дисней вечером в субботу – одна из многих малых уступок того мира, что вальяжно раскинулся на западе.

Что до отца, то он остерегался.

Бдил.

Он не поднимал головы и прятал любые мысли о политике в складках рта, но даже это не очень-то успокаивало. Когда вокруг тебя разваливается громадная система, не совать нос не в свое дело поможет разве что прожить дольше, но не уцелеть. Бесконечная зима наконец

³ Хватит уже... девочка ошибок (*польск.*).

прервалась, лишь затем, чтобы в рекордные сроки вернуться, – и вот все снова как прежде, ты на работе.

Короткие, расписанные смены.

Дружелюбие без друзей.

А вот ты дома.

Невозмутим, но ломаешь голову.

Есть ли вообще какой-то способ выбраться?

Пришел ответ, и над ним можно работать.

Это уж точно не для него.

Но у девочки, пожалуй, может получиться.

А об этих годах между что еще можно сказать?

Пенелопа выросла.

Отец ее заметно постарел, усы стали цвета пепла.

Справедливости ради, выпадали и хорошие времена, выпадали и отличные – пусть старый и угрюмый, Вальдек где-то раз в год устраивал дочери сюрприз и мчал ее на остановку трамвая. Обычно ехали на платный урок музыки или на прослушивание. Когда она училась в старших классах, дома он становился ей суровым и уверенным танцевальным партнером в бальном зале кухни. Кастрюли возмущались. Рахитичный табурет падал. Ножи и вилки летели на пол, девочка смеялась, и старик не выдерживал – улыбался. Самый тесный бальный зал на свете.

Одним из самых странных воспоминаний Пенелопы было связанное с ее тринадцатым днем рождения: как они шли домой через детскую площадку. Она чувствовала, что уже переросла эти забавы, но все равно села на качели. Спустя много десятилетий она еще раз вспомнит эту минуту и расскажет о ней четвертому из пятерых своих мальчишек – тому, который любил истории. Это было в последние месяцы ее жизни, проведенные в постели, наполовину во сне, наполовину в морфиновом дурмане.

– Нет-нет, да и вспоминаю, – говорила она, – мокрый снег, белесую стройку. Слышу, как скрежещут цепи. Чувствую на поясице его руки в перчатках.

Ее улыбка держалась на подпорках, лицо охватил распад.

– Помню, визжала от страха, так высоко. Кричала, чтобы больше не качал, но сама хотела еще.

Вот почему это так тяжело.

Яркое сердце посреди той серости.

Для нее, из нынешнего дня, побег был не столько освобождением, сколько покиданием. Как бы он ни любил их, ей не хотелось оставлять отца только на кучку его греческих мореходов-друзей. В конце концов, что проку от быстрого Ахиллеса в стране льда и снега? Он все равно замерзнет насмерть. И хватит ли Одиссею хитрости обеспечить отцу компанию, которая нужна, чтобы он выжил?

Ответ был ясен.

Не хватит.

Но, разумеется, все так и произошло.

Ей стукнуло восемнадцать.

И началась подготовка к ее побегу.

У него ушло на это два долгих года.

С виду все шло по накатанной: Пенелопа хорошо окончила школу, работала секретаршей на фабрике. Вела протоколы всех собраний, отвечала за каждый карандаш. Тасовала бумаги,

отчитывалась за каждую скрепку. Это была ее функция, ее шестеренка, уж точно далеко не худшая из всех.

Примерно в то же время она стала больше участвовать в разных музыкальных событиях, где-то кому-нибудь аккомпанируя, где-то выступая сольно. Вальдек это всячески поощрял, и скоро она стала ездить по городам. Ограничения действовали уже не так строго, из-за общего развала, а еще (более зловещая причина) от сознания того, что человек-то едет, но остаются члены его семьи. Так или иначе, Пенелопе раз-другой разрешили выехать за границу, а однажды даже выскользнуть за железный занавес. Она ни на миг не заподозрила, что отец взращивает семя ее побега: сама по себе она была счастлива.

Но страна к тому времени стояла на коленях.

Магазинные полки опустели почти окончательно.

Очереди росли.

Много раз, заиндевелые, потом под снежным дождем, они вместе часами стояли, дожидаясь хлеба, а когда доходили до прилавка, ничего уже не оставалось – и скоро он понял. Он знал.

Вальдек Лещчушко.

Статуя Сталина.

Неслучайная ирония: ведь он не сказал ей ни слова; решил за нее, заставил ее быть свободной или, по меньшей мере, навязал ей выбор.

День за днем он вынашивал свой план – и вот час настал.

Он отправит ее в Австрию, в Вену, играть на концерте – на конкурсе – и даст понять, что возвращаться не нужно.

Вот с этого-то, по-моему, и начались мы, братья Данбары.

Окружность

В общем, это была она, наша мать.

Лед и снег, столько лет назад.

И вот посмотрите на Клэя, в далеком будущем.

Что мы о нем можем сказать?

Где и как на следующий день жизнь началась заново?

Ну, при многообразии, что было к его услугам, это, вообще-то, было довольно просто.

Он проснулся в самой просторной спальне города.

Для Клэя это был идеальный вариант: одно из странных, но священных мест: кровать в поле, где разгорается рассвет и блещут далекие крыши; или, точнее, старый матрас, выцветший до слияния с землей.

Вообще-то, он часто туда ходил (и всегда субботними вечерами), но уже много месяцев не оставался там до утра, на пустыре за нашим домом. Но даже так, в этом все же была какая-то странно утешительная привилегия: матрас протянул гораздо дольше, чем имел право.

И в этом свете все казалось нормальным, когда Клэй открывал утром глаза. Все было тихо, мир неподвижен, как картина.

Но потом все принималось подскакивать и сыпаться.

Что же я натворил?

Официально это называлось Окружность.

Одна тренировочная дорожка и конюшни при ней.

Но это было много лет назад, в другой жизни.

Но тогда это было место, куда съезжались все коневладельцы без гроша в кармане, про-бывающиеся тренеры и второсортные жокеи: работать и молиться.

Один ленивый спринтер. Один добросовестный стайер. Пожалуйста, ради всего святого, нельзя ли, чтобы хоть кто-то из них обскакал всех?

А что они получили, так это специальный приз от Национального жокейского клуба.

Взыскание долгов. Опустошение.

План был пустить с молотка, но прошло почти десять лет, и, как обычно это бывало в городе, ничего до сих пор не изменилось. Все, что осталось, это пустота – огромный ухабистый паддок и парк скульптур из разного домашнего хлама.

Искалеченные телевизоры. Потрепанные стиральные машины. Катапультированные микроволновки.

Один стойкий матрас.

Все это и разное другое было расставлено по пустырю без всякого порядка, и, хотя большинство видело там лишь очередную картину пригородного запустения, для Клэя это был этаким памятный фотоальбом. В конце концов, именно там Пенелопа заглянула за ограду и решила поселиться на Арчер-стрит. Именно там мы все однажды будем стоять с горящей спичкой на западном ветру.

Другим примечательным моментом было то, что со времени закрытия трава в Окружности особо-то не выросла, в отличие от Бернборо-парка: где-то невысокая и чахлая, где-то до колена и жилистая – вот в такой и проснулся только что Клэй.

Через несколько лет я спросил его об этом; он ответил не сразу. Помолчав, он бросил взгляд через стол.

– Не знаю, – сказал он. – Может, просто стало слишком грустно расти.

Но тут же оборвал мысль. Для него это была сентиментальная тирада.

– В общем, забудь, я ничего не говорил.
Но я не могу.
Не могу забыть, потому что так и не понял.
Однажды вечером он найдет там безупречную красоту.
И совершит свою самую большую ошибку.

* * *

Но вернемся в то утро: первый день по Убийце, Клэй лежит свернувшись, а потом вытянувшись. Солнце еще не так высоко, чтобы поднять его на ноги, и он чувствует в левом кармане джинсов, ниже сломанной прищепки, что-то легкое и тонкое. Решает пока не обращать внимания.

Он лежит поперек матраса.
Он думает о ней, осязает ее, слышит.
Но на дворе утро, думает он, и сегодня четверг.
В такие моменты думать о ней больно.
Ее волосы касаются его шеи.
Ее рот.
Мышечки, грудь и, наконец, ее дыхание.
«Клэй». И чуть громче. «Это я».
Но придется ждать субботы.

Она проплакала до самой Вены

В прошлом, она снова там, не догадывается ни о чем – поскольку Вальдек Лещчушко ни вздохом не выдал никаких замыслов.

Он постарался.

Абсолютная флегма.

Концерт в Вене?

Если бы.

Я частенько думаю, каково это ему было покупать обязательный обратный билет, зная, что она едет в один конец. Каково это было: притвориться и напомнить ей запросить загран-паспорт, что требовалось перед каждым выездом за рубеж, пусть даже кратким. И Пенелопа, как всегда, запросила.

Помните, она и до того выезжала на концерты.

В Краков, в Гданьск. В Восточную Германию.

А один раз съездила в городок под названием Небенштадт, за железный занавес, но до него из соцлагеря можно было доплюнуть. Концерты всегда были событием, хотя и не слишком громким, потому что Пенелопа была прекрасной пианисткой, блестящей исполнительницей, хотя и не *блестящей*. Ездил она обычно в одиночку и никогда не опаздывала вернуться в указанный срок.

До того раза.

В тот раз отец уговорил ее взять чемодан побольше и еще одну куртку. Ночью он подложил в чемодан белья и носков. А еще между страницами книги – черной книги в твердой обложке, он положил две таких, – сунул конверт. В конверте были слова и деньги.

Письмо и американские доллары.

Книги были завернуты в рыжую бумагу.

По ней толстыми буквами выведено: **ДЛЯ ДЕВОЧКИ-СБИВАШКИ, У КОТОРОЙ ЛУЧШЕ ВСЕХ ВЫХОДИТ ШОПЕН, ПОТОМ МОЦАРТ И БАХ.**

Утром чемодан в ее руке оказался заметно тяжелее. Она принялась было расстегивать, но отец сказал: «Я положил небольшой подарок в дорогу; сейчас лучше поспеши. – И торопливо выпроводил за дверь. – А посмотришь в поезде».

И она поверила.

На ней было синее шерстяное платье с толстыми плоскими пуговицами.

Светлые волосы спадали до середины спины.

Лицо было уверенным и нежным.

Наконец, руки были свежими, и прохладными, и безупречно чистыми.

Она никак не походила на беженку.

На вокзале получилось странно, потому что отец, никогда не выдававший малейшей искры эмоций, внезапно задрожал и повлажнел глазами. Его усы впервые в их гранитной жизни оказались беззащитными.

– Tato?⁴

– Чертов холод.

– Не так уж сегодня холодно.

И верно, холодно не было, день выдался мягкий и солнечный. Высокий свет серебрил город во всем его торжественном сером.

– Ты что, споришь? Нельзя спорить, когда уезжаешь.

⁴ Папа? (польск.)

– Да, tato.

Когда подкатил поезд, ее отец рванул куда-то в сторону. Теперь-то стало понятно, что он едва держал себя в руках, изнутри раздирая карманы. Он теребил их, чтобы отвлечься, чтобы сдерживать волнение.

– Tato, вот он.

– Вижу. Я старый, а не слепой.

– Я думала, злиться тоже нельзя.

– Опять ты не слушаешься!

Он никогда так не повышал голоса, ни дома, ни, тем более, на людях, и это было необъяснимо.

– Прости, папа.

На этом они расцеловались: в обе щеки и потом еще раз в правую.

– Do widzenia⁵.

– Na razie⁶. До встречи.

Если бы!

– Tak, tak. Na razie⁷.

До конца жизни она безмерно благодарила судьбу за то, что, войдя в вагон, обернулась и сказала: «Не знаю, как буду играть без твоей еловой ветки». Она говорила так всякий раз.

Старик кивнул, почти не дав ей увидеть, как крошится и меняется его лицо, зыбущееся, как Балтийское море.

Балтийское море.

Именно так она всегда объясняла. Она утверждала, что лицо ее отца превратилось в толщу воды. Глубокие морщины, глаза. Даже усы. Все это утонуло в солнечном свете и в холодной-холодной воде.

Примерно с час она смотрела в окно, на катившую мимо Восточную Европу. Она много раз подумала об отце, но пока не увидела другого мужчину – чем-то напоминавшего Ленина, – и не вспомнила о подарке. В чемодане.

Поезд стучал.

Сначала ее взгляд упал на белье и носки, а потом на рыжий пакет, но она все еще не сложила ребус. Лишнюю одежду, наверное, можно было объяснить чудаковатостью старика; а от надписи о Шопене, Моцарте и Бахе ее затопило счастье.

Между тем она развернула пакет.

Увидела две книги в черных обложках.

Названия написаны по-английски.

Повыше на каждой значилось Homer, а потом соответственно The Iliad и The Odyssey.

Конверт, выпавший из первой, которую она взялась листать, принес внезапное и горькое осознание. Вскочив с места, она вымолвила «Nie»⁸ наполовину заполненному вагону.

Дорогая Пенелопа,

представляю, как ты читаешь это письмо в венском поезде, и сразу скажу: не оглядывайся. Не возвращайся. Я не распахну тебе объятий, а, наоборот, оттолкну. Думаю, ты понимаешь, что теперь у тебя будет другая жизнь, что можно жить по-другому.

⁵ До свидания (польск.).

⁶ Пока (польск.).

⁷ Да, да. Пока (польск.).

⁸ Нет (польск.).

В конверте ты найдешь все нужные документы. Когда приедешь в Вену, не бери такси до лагеря. Они дерут втридорога и привезут слишком скоро. Есть автобус, на нем доедешь. И не говори, что хочешь остаться по экономическим причинам. Говори одно: ты боишься репрессий.

Думаю, придется непросто, но ты справишься. Ты все преодолеешь и будешь жить; надеюсь, когда-нибудь мы увидимся и ты прочитаешь мне из этих книг по-английски: я думаю, на этом языке ты выучишься говорить. Если сложится так, что ты не приедешь, прошу тебя, читай эти книги своим детям, если такому суждено случиться там, за винноцветным морем.

Напоследок скажу, что лишь одного человека на свете я учил играть на пианино, и, хотя ты Девочка-сбивашка, мне это было в радость и за честь. Это я любил больше всего, сильнее всего.

С огромной любовью, твой Вальдек Лещушко

Ну, что бы сделали вы?

Что бы сказали?

Пенелопа, Девочка-сбивашка, простояв еще несколько секунд, медленно осела на скамью. В безмолвной дрожи, с письмом в руках и двумя черными книгами на коленях. Она расплакалась – без единого звука.

Пенелопа Лещушко плакала бездомными немymi слезами в плывшее за окном лицо Европы. Она проплакала до самой Вены.

Демонстрация силы

Клэй ни разу в жизни не бывал пьяным и, значит, не знал похмелья, но представлял себе, что, наверное, оно похоже на это его пробуждение.

Его голова лежала рядом, он ее подобрал.

Немного посидев, сполз с матраса и обнаружил подле себя в траве кусок толстой полиэтиленовой пленки. С ломотой в костях трясущимися руками он застелил им свою постель, подоткнув под матрас снизу, затем добрел до разделительной изгороди – непременно белого барьера, ограждающего стадион, один скелет, без штaketин, – и прижался к деревянной балке лицом. Вдохнул пылающие крыши.

Он долго пытался забыть.

Мужик за столом.

Негромкое присутствие братьев за спиной и осязаемое отступничество.

Он сложился из множества моментов – этот его мост, но тем утром в Окружности он в основном вырастал из последнего вечера.

Восемью часами раньше, после того как Убийца вышел за дверь, десять минут прошли в неловком молчании. Чтобы его нарушить, Томми сказал:

– Бог мой, он выглядит как ходячий мертвец.

Томми держал на груди Гектора. Тот мурчал, комок полосок.

– Он заслужил выглядеть куда хуже, – ответил я.

«Костюмчик кошмар» и «Да кому он усрался. Я в паб» сказали один за другим Генри и Рори.

Они стояли как соединение двух веществ, как песок и ржа, смешанные в одно.

Конечно, Клэй, знаменитый тем, что нечасто открывал рот, промолчал. Наверное, уже наговорился за этот вечер. На мгновение он задумался: а почему сейчас? Почему Убийца пришел именно *сегодня*? А потом вспомнил дату. 17 февраля.

Он сунул ушибленную руку в ведро со льдом, а второй старался не трогать ссадину на лице, чего очень хотелось. У стола остались он и я, в безмолвном раздоре. Я отлично понимал: беспокоиться стоит лишь об одном из братьев, и это тот, что сидит передо мной.

«Привет, пап», бог ты мой!

Я посмотрел, как кубики льда шуршат вокруг его запястья. Тебе бы ведро с тебя размером, парень.

Я так не сказал, но не сомневался, что Клэй это прочел по глазам, потому что не устоял и поднес к ране под глазом два пальца-курка. Вечно безмолвный паршивец даже слегка кивнул за миг до того, как стопка вымытых тарелок со всего своего невероятного роста обрушилась в раковину.

Но это не прервало нашего бодания, о нет. Я смотрел как смотрел.

Клэй не оторвал пальцев от ссадины.

Томми спустил Гектора на пол, собрал тарелки, скоро вернулся с голубем (Ти озираясь с его плеча) и еще подзастрял на кухне. Потом отправился проводить Ахиллеса и Розы – обоих сослали обратно за дверь, на крыльцо. Томми старательно закрыл за собой дверь.

Разумеется, раньше, когда Клэй произнес эти роковые два слова, мы, остальные, стояли у него за спиной, как свидетели на месте преступления. Притом кошмарного.

Опешивший и возмущенный, мог я в ту минуту подумать о многом, но помню одну мысль: «Всё, теперь он отрезанный ломоть».

Но я был готов этому помешать.

– У тебя две минуты, – сказал я, и Убийца медленно кивнул. Он ополз на стуле: ножки вдавились в пол. – Ну так шевелись. Две минуты это быстро, старик.

Старик?

Убийца за один вздох возмутился и смирился. Он и был старик, замшелое воспоминание, забытая мысль; и пусть он был, может, еще средних лет, для нас – почти уже мертвец.

Он положил ладони на стол.

И воскресил свой голос.

Голос ломался на куски. Убийца смущенно заговорил с комнатой:

– Мне нужен... или, вернее, я думал...

Разговор его был не тот, что прежде, спроси хоть кого из нас. Нам он помнился чуть левее или правее.

– Я пришел спросить...

Слава богу, есть Рори: поджаренным голосом, звучавшим абсолютно как всегда, он выдал твердый ответ на смущенное бормотание нашего отца:

– Ради бога, рожай скорей!

Мы замерли.

Все, на секунду.

Но тут вновь подала голос Роза, и вот я, с обычным «заткните-эту-чертову-собаку», а где-то посреди слова:

– Ладно, слушайте.

Убийца нашел просвет.

– Не буду отнимать у вас время, знаю, что не имею права, но я пришел, потому что теперь живу далеко отсюда, в деревне. Там много земли, и есть река, и я строю мост. Река разливается, я это прочувствовал на своей шкуре. И тогда может отрезать на одном берегу, а это...

Голос был – сплошная щепка, заборный столб в глотке.

– Мне нужен помощник в этом деле, и я хочу спросить, может, кто-то из вас...

– Нет.

Я был первым.

Убийца снова кивнул.

– А ты вообще краев не видишь, гляжу.

Рори, если вдруг вы не поняли.

– Генри?

Генри последовал моему примеру и в общем негодовании остался, как всегда, любезным:

– Нет, приятель, спасибо.

– Он тебе не приятель. Клэй?

Клэй помотал головой.

– Томми?

– Не.

Один из нас солгал.

Затем наступило оглушенное молчание.

Стол лежал пустыней между отцом и сыновьями. И чертова уйма крошек от тостов. В середине стола стояли разрозненные солонка и перечница, будто клоунский дуэт. Один кругленький. Один длинный.

Убийца кивнул и вышел.

А выходя, он вынул из кармана клочок бумаги и отдал компании крошек.

– Мой адрес. Если вдруг передумаете.

– Проваливай.

Я сложил руки на груди.

– И оставь сигареты.

Адрес разорвали тут же.

Я швырнул клочки в ящик возле холодильника, где у нас пустые бутылки и старые газеты.

Кто сидит, кто стоит, кто привалился к стене.

На кухне тишина.

Что тут скажешь?

Случался ли у нас в такие моменты содержательный разговор о том, чтобы сплотиться еще крепче?

Конечно, нет.

Мы обменялись несколькими фразами, и Рори, собиравшийся в паб, вышел первым. Вперед, в «Голые руки». Двигаясь к двери, он опустил мимоходом теплую влажную ладонь Клэю на макушку. В пабе он, наверное, сел там, где однажды сидели мы все вместе – включая даже Убийцу, – в тот вечер, которого никогда не забудем.

Следующим ушел Генри: наверное, разбирать старые книги и пластинки, которыми закупились на воскресной гаражной распродаже.

Вскоре за ним последовал Томми.

Мы с Клэем посидели минуту, затем он молча удалился в ванную. Принял душ, включил воду, еще постоял. Поддон был заляпан клочками волос и зубной пастой; шершавая поверхность их удерживала. Может этого-то ему и хватило, чтобы понять: великие сущности могут взяться откуда угодно.

Но Клэй по-прежнему старался не глядеть в зеркало.

Позже он отправился туда, где все началось.

Он накопил священные места.

Конечно, среди них был Бернборо-парк.

И матрас в Окружности.

И кладбище на холме.

Однако несколько лет назад это все не случайно началось вот тут.

Клэй забирается на крышу.

Он вышел на улицу, дошагал до дома миссис Чилман – изгородь, счетчик на стене, черепица. По привычке уселся на середине, чтобы остаться незаметным: с годами он все больше к этому стремился. Когда-то он забирался туда чаще всего днем, но теперь ему не хотелось торчать на виду у прохожих. Он садился на краю или на гребне, только если лез с кем-то.

Наискось через улицу он видит дом Кэри Новак. Номер 11.

Бурый кирпич. Желтые окна.

Он знает, что Кэри читает «Каменотеса».

Понаблюдав за движением силуэтов, он скоро перевел взгляд в другую сторону. Как бы он ни любил ловить хоть самый мимолетный образ Кэри, на крышу залезал не из-за нее. Он сживал здесь задолго до того, как она вообще объявилась на Арчер-стрит.

Клэй передвинулся на десяток черепиц влево и увидел город во всю длину. Он выкарабкался из своей прежней бездны, большой, пространной, залитый светом. Клэй не спеша вбирал это все в себя.

– Привет, город.

Иногда ему нравилось говорить с городом – чтобы почувствовать себя разом и менее, и более одиноким.

* * *

Примерно через полчаса ненадолго показалась Кэри. Положив руку на перила, она медленно вытянула вторую вверх.

Привет, Клэй.

Привет, Кэри.

И скрылась.

Завтрашний день, как и любой, начнется для нее безжалостно рано. Она покатит на велике через лужайку в без четверти четыре: на работу в конюшнях Макэндрю, что на Роял-Хеннеси.

Под конец объявился Генри, прямо из гаража, с пивом и пакетом орешков. Он уселся на краю, рядом с «Плейбоем» в водосточном желобе: увядшая и выпцветающая «мисс Январь». Генри знаком подозвал Клэя, и когда тот перебрался к нему, предложил свои приношения: орешки и запотевшее пиво.

– Не хочу, спасибо.

– Он разговаривает!

Генри хлопнул Клэя по спине.

– Второй раз за три часа; ну, это впрямь историческое событие. Загляну-ка завтра в киоск да куплю лотерейку.

Клэй молча смотрел в сторону: темный компост из небоскребов и пригорода.

Затем поглядел на брата: основательность плотков из пивной банки. Тому нравилась мысль о лотерейном билете.

Цифры Генри были от единицы до шестерки.

Генри указал рукой вниз: там Рори с трудом брел по улице, таща на плече почтовый ящик. А за спиной чертил концом по земле деревянный столбик; Рори победительно швырнул ящик на нашу лужайку.

– Эй, Генри, кинь-ка нам орешка, хер долговязый!

Рори на мгновение задумался, но так и не вспомнил, о чем начал говорить. Но это, наверное, было что-то уморительное, потому что всю дорогу до крыльца он смеялся. Он всполз по ступенькам и шумно улегся.

Генри вздохнул.

– Слышь, надо бы его того.

И Клэй двинулся вслед за ним на другую сторону двора, где Генри приставил к стене лестницу. Он не взглянул ни на Окружность, ни на бескрайний задник черепичных скатов. Нет, все, что он видел, – это двор и Розы, скачущую под сушильным столбом. Ахиллес жевал в лунном свете.

Что до Рори, то тот весил пьяную тонну, но как-то им удалось забросить его в кровать.

– Подлая сволочь, – резюмировал Генри. – Слянок двадцать вылакал, точно.

Они ни разу не видели, чтобы Гектор летал такой молнией. Кот выдал неподобный панический танец, сиганув с матраса на матрас и за дверь. На другой кровати спал, привалившись к стене, Томми.

Позже, много позже, в их комнате часы на старом приемнике Генри (тоже купленном на дворовой распродаже) показывали 1:39, а Клэй стоял спиной к раскрытому окну. Незадолго до того Генри, сидя на полу, в пожарном порядке дописывал домашнюю работу, но вот уже

несколько минут оставался неподвижен; лежал на застеленной кровати, и Клэй без опаски мог подумать: пора.

Он крепко закусил губу.

Вышел в коридор, держа курс на кухню, и неожиданно быстро оказался возле холодильника, с рукой, погруженной в ящик с утилем.

Откуда ни возьмись – свет.

Черт!

Белый и плотный, он хлестнул Клэя по глазам, будто футбольный хулиган. Едва Клэй успел заслониться руками, свет погас, но сполохи в глазах плясали и резали. В снова залившей все темноте возник Томми: стоит в трусах, у ноги – Гектор. Кот стал текучей собственной тенью и глазами, оскорбленными светом.

– Клэй?

Томми побрел к задней двери. Его слова капали между сном и ходьбой.

– ...илес... на... па-ами...

Со второй попытки он почти одолел полный код фразы.

– Ахиллеса надо покормить.

Клэй взял брата за плечи и повернул, и смотрел, как тот поплыл по коридору. Потом Клэй наклонился и коротко потрепал по шкуре кота, который пару раз отрывисто мурлыкнул. В какой-то миг Клэй ожидал, что заревет Ахиллес или забрешет Розы, но никто из них не подал голоса, и он запустил руку в ящик.

А там ничего.

Даже когда он рискнул приоткрыть холодильник – совсем чуть-чуть, чтобы просочилось немного света, – не нашел ни единого клочка убийственной бумажки. И как же было удивительно, вернувшись к себе, обнаружить ее, приклеенную скотчем к его кровати.

Деньрожденница

Нечего и говорить, что на конкурс она не поехала; она не репетировала и не гуляла по городу голубых крыш. Она так и осталась на перроне вокзала Вестбанхоф сидеть на чемодане, опершись локтями о бедра. Этими свежими чистыми пальцами она сыграла на пуговицах своего шерстяного платья и обменяла обратный билет, чтобы вернуться сегодня же.

Через несколько часов, когда поезд уже должен был отправляться, она поднялась. Проводник наклонился к ней из вагона, небритый, грузный.

– Kommst einer?⁹

Пенелопа безмолвно смотрела на него и не могла решиться, крутила одну из тех пуговиц, на груди. Чемодан стоял перед ней. Якорем у ног.

– Nah, kommst du jetzt, oder net?¹⁰

В его растрепанности было что-то милое. «Едете или нет?» Даже зубы у него торчали в разные стороны. Высунувшись, как мальчишка, он не засвистал в свисток, а крикнул вдоль поезда:

– Geht schon!¹¹

И улыбнулся.

Улыбнулся своей разнотрубой улыбкой, а Пенелопа держала пуговицу уже перед собой, на правой ладони.

И все же, точно по отцовскому предсказанию, у нее получилось.

У нее не было ничего, кроме чемодана и незащищенности, но, как и считал Вальдек, она выкарабкалась.

В городке под названием Трайскирхен был лагерь: войско двухъярусных кроватей и винноцветный пол в туалете. Первой задачей стало найти конец очереди. Хорошо, что в этом у нее был богатый опыт: Восточная Европа вставать в очереди научила. Второй задачей, уже внутри, стало приспособиться к глубокой, по щиколотку, луже отказов, разлившейся по полу. Опять водная зыбь – что ж, проверка на выдержку и выносливость.

Очередь состояла из усталых людей с безучастными лицами; каждый боялся разных исходов, но одного – больше остальных. Ни в коем случае нельзя, чтобы отправили обратно.

Когда она достояла свою очередь, ее опросили.

Ее дактилоскопировали, ее переводили дальше.

Австрия была, в сущности, площадкой для передержки, в большинстве случаев за двадцать четыре часа твое дело рассматривали и отправляли тебя в хостел. Там предстояло ждать одобрения от посольства другой страны.

Ее отец многое продумал, но не учел, что пятница была неудачным днем для приезда. Это значило, что выходные придется провести в лагере, а там не курорт. Но она это выдержала. В конце концов, по ее же словам, лагерь – это не ад. Не сравнить с тем, что выпало другим. Хуже всего было неведение.

На следующей неделе она села в другой поезд: на этот раз в горы, к другому комплекту двухъярусных кроватей, где Пенелопа принялась ждать.

Не сомневаюсь, за те девять месяцев немало всего произошло, но что я, в сущности, знаю о том времени? Что знал Клэй? Так вышло, что жизнь в горах была одним из немногих

⁹ Ты едешь? (нем.)

¹⁰ Садись или нет? (нем.)

¹¹ Порядок! (нем.)

моментов, о которых Пенелопа почти не заговаривала, – но если касалась ее, то говорила просто и прекрасно, и, пожалуй, даже горестно. Как она однажды объяснила Клэю: один короткий телефонный звонок и одна старинная песенка.

Пара деталей, рассказывающих обо всем.

В первые же дни она заметила, что люди ходят звонить в старую телефонную будку у дороги. Эта будка торчала там, как объект из другого мира, посреди безбрежности леса и неба.

Было ясно, что они звонят домой: в глазах блестели слезы, а многие, повесив трубку, не сразу могли себя заставить выйти.

Пенелопа, как и многие, колебалась.

Не обернется ли звонок бедой.

Ходило немало слухов, что власти прослушивают телефоны, так что любой бы призадумался. Как я уже говорил, тех, кто остался дома, могла настигнуть кара.

Многих выручало то, что у них предполагалась относительно долгая поездка. Почему бы и не позвонить домой, если уехал на несколько недель? Пенелопе было не так просто: она уже должна была вернуться. Не опасно ли это для отца? К счастью, пока она мялась у будки, ее заметил человек по имени Тадек. Голос и тело у него были как лес.

– Хотите позвонить домой?

Видя ее замешательство, он пошел и приложил к будке ладонь, показывая, что та не кусается.

– Кто-то из вашей семьи участвует в движении?

И еще точнее:

– Solidarno?

– Nie¹².

– Не свернули нос кому не надо, если понимаете, о чем я?

Она помотала головой.

– Кажется, нет.

Он усмехнулся так, будто одолжил зубы у того австрийского проводника.

– Ладно, еще спрошу. Родителям?

– Отцу.

– И вы точно? Ничего не натворили?

– Точно.

– А он?

– Да он старик, трамвай водит, – ответила Пенелопа. – Он почти не разговаривает.

– Ну, тогда, думаю, можно не дрейфить. Партия сейчас в таком бледном виде, вряд ли им есть дело до трамвайного старика. В наши дни трудно в чем-то быть уверенным, но в этом я ни на грамм не сомневаюсь.

И вот тут, рассказывала она, Тадек посмотрел куда-то сквозь сосны и полосы света.

– Хороший он отец?

– Tak¹³.

– Он будет рад вас услышать?

– Tak.

– Тогда вот.

Он повернулся и протянул ей несколько монет.

– Передайте привет.

И пошел прочь.

¹² «Солидарность»? Нет (польск.).

¹³ Да (польск.).

Тот телефонный разговор состоял из десяти коротких слов. В переводе:

– Аллю?

Молчание. Шорох.

Он повторил.

Этот голос: словно бетон, словно камень.

– Аллю?

Она потерялась в соснах и горном склоне, пальцы на трубке побелели.

– Девочка-сбивашка? – спросил он. – Девочка-сбивашка, это ты?

И она увидела его на кухне и полку с тридцатью девятью книгами – и, прижавшись щекой к стеклу, сумела выговорить:

– Да.

А затем осторожно повесила трубку.

Горы расступились.

Теперь к песне – не первый месяц в лагере, вечером, в гостевом доме.

Луна уперлась в стекло.

Наступил день рождения ее отца.

В Восточной Европе в те годы больше значения придавали именинам, но на чужбине все ощущается острее. Пенелопа обмолвилась о дне рождения кому-то из женщин.

Водки у них не нашлось, но в том месте всегда было вдоволь шнапса, и быстро объявился поднос с рюмками. Когда их наполнили и раздали, хозяйка посуды подняла свою чарку и посмотрела на Пенелопу. Это происходило в гостиной. Там собралось человек десять, а то и больше, и, услышав слова «За вашего отца» на своем родном языке, Пенелопа подняла глаза, улыбнулась и смогла не потерять самообладания.

В этот миг поднялся другой человек.

Конечно, это был Тадек, и он грустно – и прекрасно – завел песню:

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam.

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam¹⁴...

И это было уже слишком.

С дня телефонного звонка переживания копились в ней, и больше она не могла их давить. Она стояла и пела, но внутри ее что-то сломалось. Пела песню своего народа с дружеским пожеланием удачи и недоумевала, как же бросила отца. Слова шли высокими волнами любви к нему и отвращения к себе; и, когда песня смолкла, у многих на глазах блестели слезы. Люди не знали, увидят ли вновь своих близких: благодарить им или каяться? Одно лишь они знали точно: теперь это не в их власти. Но что началось, должно завершиться.

Поясню, начало песни переводится так: «До ста, до ста, тебе желаем жить».

Она пела и знала, что столько ему не прожить.

И они больше не увидятся.

Все оставшееся время в лагере Пенелопа волей-неволей снова и снова возвращалась к этим переживаниям, никла к ним: особенно живя в такой беззаботности.

С ней же все так любезно обходились.

Она – ее спокойствие, ее обходительная неуверенность – нравилась людям, и ее теперь называли Деньрожденницей, в основном за глаза, но и в ее присутствии. Иногда ее звали так в

¹⁴ «Сто лет, сто лет, станем жить, станем жить» – песня, традиционно исполняемая в Польше на день рождения.

глаза, особенно мужчины, на разных языках, когда она прибирала, или стирала, или завязывала шнурок ребенку.

– Dzięki, Jubilatko.

– Vielen Dank, Geburtstagskind.

– Děkuji, Oslavenkyně.

Спасибо, Деньрожденница.

Тогда у нее пробивалась улыбка.

* * *

А все, что было кроме этого, – ожидание и воспоминания об отце. Иногда ей казалось, что ей пока удастся вопреки ему перебиться, но такое случалось лишь в самые мрачные минуты, когда с гор наваливался дождь.

В такие дни она работала дольше и старательнее.

Готовила, прибирала.

Мыла посуду и меняла постели.

В итоге прошло девять месяцев в горькой надежде и в разлуке с фортепьяно, прежде чем нашлась страна, которая наконец дала согласие. Пенелопа присела на краешек койки с конвертом в руке. Она смотрела за окно, в пустоту; стекло было белым и матовым.

До сих пор я, помимо воли, вижу ее там, в Альпах, которые часто рисую в воображении.

Видю, как она сидит на кровати, или, как однажды описал это Клэй, будущую Пенни Данбар, снова вставшую в очередь, чтобы полететь далеко на юг, можно сказать, прямо на солнце.

С убийцей в кармане

Пенелопа перелетела через океаны, а Клэй вошел в ограду.

Он прошел проулком между Окружностью и домом, где штакетины были призрачной серости. Тогда там была калитка для Ахиллеса – чтобы Генри выгонял его и загонял. Во дворе Клэй порадовался, что не пришлось перелезать; похмельные утра, очевидно, довольно мучительны, и ближайшие несколько секунд все решали.

Первым делом Клэй двинулся извилистым фарватером по Ахиллесовым яблокам. Затем – по лабиринту собачьего дерьма.

Оба виновника еще спали; один – стоя в траве, другой – развалившись на освещенном диванчике на крыльце.

В кухне пахло кофе – я опередил Клэя, и ясно, что не только в этом смысле.

Пришла очередь Клэя сплясать под мою дудку.

Я завтракал на крыльце, как привык время от времени поступать.

Я стоял у деревянных перил, с вареным небом и холодными хлопьями. Еще горели уличные фонари. На лужайке валялся притащенный Рори почтовый ящик.

Клэй отворил переднюю дверь и остановился в нескольких шагах позади меня, а я продолжил доедать хлопья.

– Господи, опять почтовый ящик.

Клэй нервно улыбнулся, я чувствовал, но тут уж наступил предел моей любезности. В конце концов, адрес – у него в кармане: я склеил его на совесть.

Я не спешил оборачиваться.

– Ты нашел?

Снова почувствовал, как он кивает.

– Подумал, избавлю тебя от необходимости самому его выуживать.

Ложка звякнула о тарелку. Несколько капель молока упали на перила.

– Он у тебя в кармане?

Еще кивок.

– Думаешь ехать?

Клэй посмотрел на меня.

Он смотрел и молчал, а я пытался, как часто в последнее время, как-то его понять. Внешне мы с ним похоже больше всех остальных, но я пока еще был на добрых полфута выше. Волосы у меня жестче, и мышцы тоже, но это сказывалась разница в возрасте. Пока я на работе день за днем на четвереньках ползал по ковровым, дощатым и цементным полам, Клэй ходил в школу и бегал свои мили. Он выдержал свою норму сгибаний и отжиманий: стал пружинистым и резким с виду – поджарым. Пожалуй, вы бы сказали, что мы с ним – два варианта одной сущности, особенно по глазам. У нас обоих в глазах – пламя, и не важно, какого цвета радужка, потому что это пламя и есть наши глаза.

Посреди этой сцены я ядовито улыбнулся.

И покачал головой.

В эту секунду погасли уличные фонари.

Я спросил, о чем следовало спросить.

Чтобы не говорить того, что необходимо было сказать.

Небо распахнулось, дом сжался.

Я не приблизился, не прицелился, я не угрожал.

Все, что я сказал, было «Клэй».

Позже он рассказал мне, что это-то его и насторожило.

Невозмутимость.

Посреди этого непривычно вкрадчивого разговора в нем что-то ухнуло. И опустилось плавно от горла к груди, к легким, а на улицу выплеснулось готовое утро. На другой стороне улицы иззубренно-безмолвно, как шайка лихих ребят, ждущих лишь моего слова, стояли дома. Мы знали, что я обойдусь и без них.

Через секунду-другую я оторвал локти от перил и опустил взгляд ему на плечо. Я мог спросить его о школе. А как же школа? Но мы оба знали ответ. Кто я такой, в конце концов, чтобы уговаривать его не бросать школу? Я и сам не доучился.

– Можешь ехать, – сказал я. – Удержать тебя я не могу, но...

Остаток обломился.

Фраза трудная, как и сама работа – и вот то, в конце, и было в ней истиной. Есть уход и возвращение. Преступление и момент расплаты.

Вернуться и быть принятым.

Две совсем разные вещи.

Он мог ускользнуть с Арчер-стрит и променять братьев на человека, который нас бросил, – но не сможет миновать меня, когда вернется домой.

– Важное решение, – сказал я, уже прямо, в глаза ему, а не в район плеча. – И, думаю, нехилые последствия.

И Клэй посмотрел сначала мне в глаза, потом куда-то в сторону.

Он оценил мои огрубевшие в работе запястья, мои руки, кисти, артерию на шее. Отметил и неохоту в моих кулаках, но и решимость довести дело до конца. Но самое важное – он увидел пламя в глазах, которые умоляли его: не уходи к нему, Клэй. Не бросай нас.

Но если уйдешь...

Дело в том, что теперь я не сомневаюсь.

Клэй знал, что должен это сделать.

Только не был уверен, сможет ли.

Я вернулся в дом, а он еще побыл на крыльце, будто на мели, придавленный тяжестью выбора. Учтите, свою угрозу я даже не смог произнести вслух. В конце концов, что самое плохое можно сделать пацану из Данбаров?

Уж это-то Клэй понимал, и у него были причины уйти и причины остаться – и это были одни и те же причины. Его понесло каким-то потоком – разрушения всего, что он имел ради того, чтобы стать тем, кем ему нужно было стать, – и прошлое придвинулось вплотную.

Он стоял и смотрел в жерло Арчер-стрит.

Бумажные дома

И приходит прилив с победой, но и с непрерывной борьбой – ведь точнее всего вступление Пенелопы в жизнь этого города можно описать как постоянное изнеможение и изумление.

Великая благодарность к месту, принявшему ее.

Страх перед его необычностью и зноем.

А потом, конечно, вина.

Сто лет, которых ему точно не прожить.

Так шкурно, так бессердечно покинуть.

Оказалась она здесь в ноябре, и, хотя обычно это не самая жаркая пора, время от времени в городе случается неделя-другая бесперемонного напоминания, что лето на носу. Если выбирать самое неподходящее для приезда время, то это было, наверное, оно: двойственный прогноз из жары, сырости, жары. Даже местные, казалось, страдали.

Ну а в довершение всего она явно вторглась в чужие владения: комната в лагере очевидно принадлежала полчищу тараканов – и, боже всемогущий, таких страшных тварей ей еще не приходилось видеть. Огромные! Не говоря уже о том, какие свирепые. День за днем тараканы пытались отвоевать у нее территорию.

Неудивительно, что первой ее покупкой в городе стал баллон репеллента.

А следующей – пара шлепанцев.

Он поняла, что, во всяком случае, в этой стране – можно далеко уехать на паре вшивеньких обуток и нескольких баллонах мушиной отравы. Это помогло ей осваиваться. День за днем. Ночь за ночью. Неделя за неделей.

* * *

Сам лагерь был зарыт глубоко в ковре норовистых пригородов.

Там она осваивала язык, с самых азов. Бывало, гуляла по улицам, вдоль особенных домов – каждый стоял в середине огромной постриженной лужайки. Дома казались ей бумажными.

Когда она спросила о них преподавателя английского, нарисовав дом и указав на бумагу, он громко расхохотался.

– Ой, не говорите!

Но, отсмеявшись, дал ответ.

– Нет, не бумажные. Это фибра.

– Фи-бра.

– Да.

Другое наблюдение за лагерем и его многочисленными тесными комнатами состояло в том, что он совсем как город: расползался даже в таком узком месте.

В лагере были люди всех цветов.

Всех языков.

Были гордецы с задранными головами и тут же самые пришибленные болезнью волочения ног, каких только можно вообразить. И были те, кто все время улыбался, чтобы не дать выхода сомнениям. А общего у них было то, что все в разной степени тянулись к людям своей национальности. Общая родина склеивала крепче многого другого – и так люди в лагере сходились.

Так и Пенелопа находила людей из своей страны и даже из своего города. Нередко они оказывались весьма радушными, но все это были семьи, а родная кровь крепче, чем общая родина.

Ее то и дело приглашали то на день рождения, то на именины – или просто на посиделки без повода с *водкой, варениками, борщом и бигосом*, – но странно, как быстро она уходила. Запах этой еды в застоявшемся воздухе был уместен не больше, чем она сама.

Но всерьез ее беспокоило не это.

Нет, единственное, что ее на самом деле пугало, это вид и голоса гостей, поднимавшихся и раскрывавших рты, чтобы в очередной раз спеть *Sto Lat*. Они пели о доме как об идеальном месте, будто не было никаких причин его покидать. Они обращались к друзьям и родным, как будто слова могли сделать их ближе.

Вместе с тем, как я сказал, она испытывала и благодарность за другие события.

Например, за Новый год, когда она шла по лагерю в полночь и где-то неподалеку взлетали фейерверки – Пенелопа видела их между домами. Великолепные красные и зеленые огненные перья, далекие возгласы.

И вот Пенелопа остановилась посмотреть.

Она улыбнулась.

Наблюдая игру огня в небе, она села на придорожный камень. Свесив руки, покачивалась, едва заметно. «*Pięknie*¹⁵, – думала она. – Прекрасно, и здесь мне предстоит жить». От этой мысли ее глаза плотно закрылись, и она обратилась к закипающей земле:

– *Wsta*, – сказала она.

И вновь:

– *Wsta, wsta*¹⁶.

Вставай.

Но Пенелопа не двигалась.

Не время.

Но скоро.

– Просыпайся, Христа ради.

Пенни приходит на Арчер-стрит, а Клэй тем временем начинает процесс постепенного отбредания прочь.

В первый день после моего ультиматума на крыльце он направился к пакету с хлебом и остаткам кофе. Позже, вытирая лицо в ванной, он слышал, как я ухожу на работу. Я остановился над Рори.

Я – в своей грязной заношенной робе.

Рори – все еще наполовину сонный, наполовину неживой после вчерашнего.

– Эй, Рори.

Я потрянул его.

– Рори!

Он попытался пошевелиться, но не смог.

– О черт, Мэтью, ну что?

– Ты знаешь что. Там опять, блин, почтовый ящик.

– И все? Почему ты знаешь, что это я?

– Я не собираюсь тебе отвечать. Говорю, ты эту срань унесешь и установишь, где стояло.

– Я даже не знаю, где я его выкорчевал.

– На нем же есть номер, да?

¹⁵ Красиво (*польск.*).

¹⁶ Вставай (*польск.*).

– Но я не знаю, какая улица.

И вот момент, которого ждал Клэй:

– И-исусе!

Он через стенку чувствует, как я закипаю, но дальше – по делу:

– Ладно, мне плевать, что ты с ним сделаешь, но я не предполагаю увидеть его здесь, когда вернусь, понял?

Позже, войдя в комнату, Клэй обнаружил, что во время всего разговора Гектор, будто в борцовском поединке, лежал, обвившись вокруг шеи Рори. Кот мурчал и линял одновременно. Мурчанье взлетало до голубиного тона.

Заметив в дверях чье-то новое присутствие, Рори придушенно заговорил:

– Клэй? Ты? Будь другом, убери с меня этого сраного кота.

После чего переждал еще два упрямых когтя, а потом:

– А-ах!

Громкий вздох облегчения. Кошачья шерсть плывет в воздухе; оседает на пол. В телефоне Рори заблеял будильник, придавленный Гектором, Рори на нем лежал.

– Ты же слышал Мэтью, принцессу сраную. – Несмотря на кошмарную головную боль Рори попытался изобразить подобие улыбки. – Не в службу, а в дружбу, ты бы мог утащить этот ящик на Окружность, правда же?

Клэй кивнул.

– Вот и ладненько, малый, и помоги нам встать, а то мне надо на работу.

Однако прежде всего Рори не преминул шагнуть к кровати Томми и огреть того по затылку.

– А ты, говорил я не пускать эту твою скотину...

Он собрался с силами.

– НА МОЮ ПОСТЕЛЬ!

Был четверг, и Клэй отправился в школу.

В пятницу он бросил ее навсегда.

На следующее утро он отправился прямиком в учительскую, где на стенах висели плакаты, а доску исписали всю сплошь. Оба плаката были довольно юмористические. Джейн Остин в платье с оборками держит над головой штангу. Подпись гласит: КНИГИ УЖАСНО КРУТЫ. Второй больше похож на рекламу с надписью МИНЕРВА МАКГОННАГАЛ – БОГИНЯ.

Ей было двадцать три, этой учительнице.

Ее звали Клаудия Киркби.

Клэю она нравилась, потому что когда однажды он пришел поговорить, она в один миг отмела школьную корректность. Зазвенел звонок, Клаудия посмотрела на Клэя и объявила:

– Давай, парень, дуй отсюда. Жопу в горсть и на урок.

Клаудия Киркби неплохо владела словом.

Темная шатенка с карими глазами и веснушчатыми скулами. У нее была улыбка, которая примиряла с любой ситуацией, красивые икры и высокие каблуки, она была довольно рослая и всегда элегантная. И мы ей почему-то сразу понравились: даже Рори, который полный кошмар.

В ту пятницу Клэй зашел к ней перед занятиями, она стояла у письменного стола.

– Привет, мистер Клэй.

Она просматривала письменные работы.

– Я ухожу.

Она встрепелась, подняла глаза.

В этот раз никакой жопы-в-горсть.

Села, беспокойно посмотрела и сказала:

– Хм-м.

В три часа я сидел в школе, в кабинете директора миссис Холланд, где мне уже приходилось бывать пару-тройку раз – закончившихся отчислением Рори (в водах, что еще нахлынут). Миссис Холланд была из элегантных, коротко стриженных дам со светлыми и седыми прядями, с подведенными глазами.

– Как дела у Рори? – спросила она.

– У него нормальная работа, но сам он, в общем, не изменился.

– Хм, что ж, передайте ему от нас привет.

– Обязательно. Ему будет приятно.

Еще как будет, гаденышу.

Клаудия Киркби тоже участвовала в разговоре: ее благородные каблуки, черная юбка и кремовая блузка. Она улыбалась мне, как всегда, и я понимал, что должен сказать «Приятно познакомиться», – но не мог. В конце концов, происходит трагедия. Клэй бросает школу.

Миссис Холланд:

– Значит, э-э, как я сказала, э-э, по телефону...

Миссис Холланд была самым ужасным экальщиком из всех, каких я только встречал. Я каменщиков знал, которые меньше ее экали.

– Вот наш юный Клэй, э-э, намерен, а-а, нас покинуть.

Черт побери, теперь она выкатила еще и «а-а»: это явно не сулит ничего хорошего.

Я бросил взгляд на сидевшего рядом Клэя.

Он поднял глаза, но молчал.

– Он хороший ученик, – продолжала миссис Холланд.

– Я знаю.

– Как и вы были.

Я не отреагировал.

Она продолжала:

– Ему, однако, шестнадцать. И, э-э, по закону, мы никак не можем его не отпустить.

– Он хочет уехать жить к отцу, – пояснил я.

Я хотел добавить «на время», но как-то эти слова не произнеслись.

– Понятно, что ж, э-э, мы можем подыскать другую школу, поближе к тому месту, где живет ваш отец.

Внезапно все сложилось.

На меня навалилась ужасная цепенящая грусть этого кабинета, от его то ли сумрачного, то ли флуоресцентного света. Не будет другой школы, ничего не будет. Вот так, и мы все это понимали.

Я отвернулся и увидел, что Клаудия Киркби тоже грустная и такая добросовестно и дьявольски милая.

Потом, когда мы с Клэем шли к машине, она окликнула нас и догнала: ее бесшумные, проворно мелькающие ступни. Туфли на каблуках она бросила возле кабинета.

– Вот, – сказала она, протягивая небольшую стопку книг. – Можешь ехать, но ты должен прочесть эти книги.

Клэй кивнул, благодарно ответил:

– Спасибо, мисс Киркби.

Мы с мисс Киркби пожали друг другу руки и распрощались.

– Удачи, Клэй.

И руки у нее тоже были красивые: бледные, но теплые; а еще свет в грустно улыбающихся глазах.

В машине Клэй, отвернувшись к окну, невзначай, но вместе с тем твердо, заметил:

– Знаешь, ты ей нравишься.

Мы как раз отъезжали от школы.

Странно подумать, но придет день, и я женюсь на этой девушке.

Потом он отправился в библиотеку.

Он пришел туда в половине пятого, а к пяти уже сидел между двумя высокими башнями из книг. Все, что смог найти о мостах. Тысячи страниц, сотни методик. Все виды, все размеры. Сплошная тарабарщина. Он читал и не понимал ни слова. Но ему нравилось рассматривать мосты: арки, опоры, консоли.

– Паренек?

Он поднял глаза.

– Возьмешь что-нибудь на дом? Уже девять. Мы закрываемся.

Дома он неуклюже протиснулся в дверь, не зажигал света. Его синяя спортивная сумка раздулась от книг. Он сказал в библиотеке, что надолго уезжает, и попросил сразу продлить на сколько можно.

Как на грех, войдя, первым он увидел меня, рыскавшего Минотавром по коридору.

Мы остановились, оба посмотрели вниз.

Сумка с таким грузом говорила сама за себя.

В полумраке моя фигура таяла, но глаза горели. Тем вечером я устал, гораздо старше двадцати, – древний, разбитый и седой.

– Проходи.

Проходя, он заметил в моей руке разводной ключ: я подтягивал кран в ванной. Не Минотавр я был, а чертов *сантехник*. И мы оба смотрели на сумку с книгами, и коридор вокруг нас сжимался.

Потом суббота, ожидание Кэри.

Утром Клэй покатался с Генри по гаражным барачкам за книжками и пластинками: наблюдал, как тот сбивает цену. На одном из базарчиков продавался сборник рассказов под названием «Стиплчейзер», симпатичная книжка в мягкой обложке с оттиснутой на ней скаковой лошадью. Клэй уплатил доллар и вручил книгу Генри, который взял ее, раскрыл и улыбнулся.

– Чувак, – сказал он. – А ты джентльмен.

С того мгновения часы полетели вскачь.

Но их все равно нужно было завоевывать.

Под вечер он отправился на Бернборо, кинуть несколько кругов. На трибуне читал свои книги и начал что-то понимать. Термины вроде «компрессия», «ферма» и «устой» стали понемногу приобретать содержание.

Потом он пронесся узким желобом ступеней между щепастыми скамьями. Вспомнил девушку Старки и улыбнулся: ее губы. По полю шелестел неспешный ветерок, а Клэй поспешил прочь.

Оставалось недолго.

Скоро он будет на Окружности.

Блага свободы

Пенелопа пережила лето.

Она решила получить от него удовольствие, и это был верный шаг.

Ее первый выход на пляж стал классическим двойным провалом: смесью солнечного ожога и ледяного ветра. Она никогда не видела, чтобы столько людей так быстро куда-то мчались и столько песка, которым их засыпало. С другой стороны, могло обернуться и хуже: когда она впервые увидела португальские кораблики, безмятежно качающиеся в волнах, они показались ей такими хрупкими и эфемерными. И лишь когда по пляжу забегали дети, в разной степени мучимые болью, она поняла, что их всех ужалили. «Biedne dzieci», – думала она, видя, как те мчатся к родителям, бедные дети. Большинство дрожали под струями душа либо скулили и безутешно всхлипывали, но одной матери пришлось даже помешать своей малютке тереть ожоги песком. Девчушка в панике хватала его в горсти и сыпала на кожу.

Пенелопа растерянно смотрела.

Эта мать позаботилась обо всем.

Она успокоила девочку и не выпускала из объятий, и лишь когда та пришла в себя и мать это поняла, подняла глаза на иммигрантку рядом. Больше никаких слов, только склоненная спина и поглаживание ребенка по спутанным волосам. Увидев Пенелопу, она кивнула и, подхватив девочку, унесла. Пройдут годы, прежде чем Пенелопа узнает, что португальские кораблики приплывают нечасто.

А еще ее удивило, что большинство детей снова полезли в воду, но теперь ненадолго, по причине завывающего ветра – он возник, казалось, ниоткуда, волоча темнеющие комья неба.

В довершение всего ту ночь Пенелопа пролежала без сна, отчаянно дрожа от солнечного ожога и легкой дробы насекомых лапок.

Но дела пошли на поправку.

Первым поворотным событием было то, что она нашла работу.

Она стала сертифицированным неквалифицированным рабочим.

У лагеря были связи с организацией, тогда носившей название си-и-эс – государственной биржей труда, – Пенелопа заглянула в их контору, и ей повезло. Или, по крайней мере, повезло в ее собственном смысле. После длинного собеседования и кучи официальных бумаг ей дали разрешение на кошмарную работу.

Если кратко, то общественные удобства.

Ну, вы себе представляете.

Как такая пропасть народу может настолько криво мочиться? Зачем люди пишут, мажут, зачем гадят куда угодно, только не в унитаз? Это ли блага свободы?

В кабинках она читала надписи на стенах.

Со шваброй в руке она вспоминала, что было на последнем занятии по английскому, и повторяла себе под ноги. Это был отличный способ оказать уважение новой стране – окунуться в ее зной, тереть и мыть ее грязь и пакость. А еще Пенелопа гордилась собой, потому что работала с охотой. Прежде она сидела на ледяном голом складе, отачивая карандаши, теперь жила на четвереньках; дышала дуновениями хлорки.

После полугода работы она, казалось, могла потрогать их руками.

Ее план приобретал очертания.

Конечно, каждый вечер, а иногда и днем, по-прежнему наворачивались слезы, но Пенелопа определенно делала успехи. Ее английский от безвыходности неплохо прогрессировал,

хотя пока еще нередок был суматошный, мятый синтаксис неправильных начал и сломанных окончаний.

Много лет спустя, несмотря на то что она преподавала английский в школе на другом конце города, дома Пенелопа, бывало, сбивалась на заметный акцент, и мы всякий раз не могли удержаться; нам нравилось его слышать, мы радостно вопили, мы просили еще. Она так и не смогла обучить нас своему родному языку – мы ее выматывали одним фортепиано, – но нам нравилось, что «лодка» может стать «водкой» и вместо «речи» кто-то «идет жечь». «Рука» становилась «ранкой». Или «А ну тише! Я из-за вас собственных мыслей не слышу!» Но в первой пятерке всегда стояла неприятность. Нам куда больше нравилась «непжиятность».

Да, в первые дни все сводилось к этим двум религиям: слова, работа.

Вальдеку она писала письма и, когда случались деньги, звонила, поняв, наконец, что ему ничего не грозит. Он рассказал обо всем, что сделал, чтобы ее вывезти, и что прощание на перроне было вершиной его жизни, и что цена не важна. Однажды она ему даже почитала из Гомера на ломаном английском и точно почувствовала, как он улыбается.

Только вот она не могла знать, что годы за этими делами помчат без оглядки. Она перемостит несколько тысяч унитазов, отскребет акры щербатого кафеля. Она вынесет все туалетные оскорбления, найдя при этом и вторую работу: уборку в частных домах и квартирах.

Но вместе с тем она не могла знать и того, что ее будущее скоро определится тремя связанными между собой поворотами.

Одним из них будет тугой на ухо хозяин музыкальной лавки.

Потом – троица бестолковых грузчиков.

Но первым станет смерть.

Смерть статуи Сталина.

Кэри и Клэй и Матадор в пятой

Он никогда не забудет день, когда впервые увидел ее на Арчер-стрит, или, вернее, день, когда она, подняв глаза, увидела его.

Было начало декабря.

Кэри с родителями приехала в город под вечер, они добирались несколько часов. Позади их машины катил грузовик перевозочной фирмы, и вскоре они принялись таскать на крыльцо и в дом коробки, мебель и бытовую технику. Среди вещей обнаружили седла, несколько уздечек и пара стремян: для отца Кэри упряжь составляла ценность. Он тоже некогда был жокеем в жокейской семье, где жокеями были и его старшие братья: они участвовали в скачках в разных городках с непроизносимыми названиями.

Прошло, наверное, уже с четверть часа после их прибытия, когда девочка, остановившись, замерла посреди лужайки. Под мышкой одной руки она держала коробку, под мышкой другой – тостер, который в пути успел растряситься. Шнур от тостера свисал к ее ногам.

– Смотри-ка, – сказала она, махнув небрежно через дорогу. – Вон там мальчишка на крыше.

Теперь, через год и несколько недель после того дня, она пришла на Окружность, легко шелестя по траве.

– Привет, Клэй.

Он почувствовал ее рот, ее кровь, ее жар и пульс. Все в одном выдохе.

– Привет, Кэри.

Было около половины десятого, и он дожидался ее на матрасе.

С мотыльками. И с луной.

Клэй лежал на спине.

Девочка секунду помедлила на краю, поставила что-то на траву у ног, затем легла на бок, чуть прижав Клэя коленом. Он почувствовал на коже рыжеватую щекотку ее волос, и, как всегда, это ему понравилось. Он уловил, как она заметила ссадину на его лице, но сочла за лучшее не спрашивать и не искать других повреждений.

И все же ей придется.

– Пацаны, пацаны, – сказала она, трогая его рану.

И замолчала в ожидании ответа.

– Нравится книжка?

Вопрос сначала показался тяжелым, будто ее подтягивали на блоке.

– И по третьему кругу интересно?

– Еще интереснее – Рори тебе не говорил?

Он попытался вспомнить, говорил ли Рори что-то по этому поводу.

– Я его видела на улице, – сказала она. – Несколько дней назад. Кажется, как раз перед...

Клэй хотел приподняться, сесть, но удержался.

– Перед чем?

Она знала.

Знала, что он вернулся домой.

Клэй пока решил не реагировать, его мысли занимал «Каменотес» и вложенный туда закладкой выцветший билет тотализатора: на Матадора в пятой скачке.

– А где читаешь хотя бы? Он уже поехал работать в Рим?

– И в Болонью тоже.

– Махом ты. Все без ума от его сломанного носа?

– Ага-а. Ничего не могу с собой поделать, знаешь.

Быстрая широкая усмешка.

– Я тоже.

Кэри нравилось, что в подростковом возрасте Микеланджело сломали нос за то, что его обладатель был слишком боек на язык: напоминание, что он тоже человек. Значок несовершенного существа.

Для Клэя тут было чуть больше личного. Он знал еще один сломанный нос.

* * *

А тогда – тогда, через несколько дней после ее появления, – Клэй сидел на крыльце и жевал тост, поставив тарелку на перила. И, едва он его доел, на улице появилась Кэри – в фланелевой рубашке и вытертых джинсах, рукава у нее были подвернуты до локтя. Последний осколок солнца за ее спиной.

Отсвет на ее руках.

Поворот ее лица.

И даже зубы: они не были у нее абсолютно белыми, не были абсолютно ровными, но в них было при этом что-то, особое качество: как стекляшка из моря, гладко обточенные оттого, что она сжимала их во сне.

Сначала она не поняла, узнал ли он ее, но тут Клэй нерешительно спустился с крыльца, так и не выпустив тарелки из рук.

С этого расстояния, близко-но-настороженно, она его разглядела: деловито, с радостным любопытством.

Самым первым словом, которое он ей сказал, было «извини».

Он произнес его, потупившись в тарелку.

Выждав положенную недлинную паузу, Кэри вновь заговорила. Подбородком она касалась его ключицы, и в этот раз заставила Клэя смириться.

– В общем, – сказала она, – когда он приехал.

Здесь их голоса никогда не сходили на шепот – просто негромкие, по-дружески, без испуга, – и она призналась:

– Мэтью мне сказал.

У Клэя засвербила ссадина.

– Ты видела Мэтью?

Она кивнула едва заметно, ему в шею, и продолжила его ободрять:

– Я шла домой в четверг вечером, а он выносил мусор. С вами, бандой Данбаров, не запросто разминешься, знаешь ли.

В этот момент Клэй почти сломался.

Фамилия Данбар, и скоро уезжать.

– Наверное, просто жесть, – сказала она, – видеть...

Она устроилась поудобнее.

– ...видеть его.

– Есть вещи и похуже.

Да, есть, и они оба это знали.

– Мэтью что-нибудь сказал про мост?

Она не ошиблась, я сказал. Это было одно из самых неудобных свойств Кэри Новак: ей всегда скажешь больше, чем следует.

Вновь молчание. Один танцующий мотылек.

Теперь она лежала ближе, и Клэй, когда она заговорила, чувствовал ее слова, будто ему их вкладывали в горло.

– Клэй, ты уезжаешь строить мост?
Этот мотылек будет виться вечно.

– За что? – спросила она тогда, давно, у крыльца. – За что ты извиняешься?
Вся улица уже почернела.
– Ну, знаешь, надо было слезть вчера и помочь вам с разгрузкой. А я сидел там себе.
– На крыше?
Она уже ему нравилась.
Нравились ее конопушки.
Их расположение на лице.
Их видел только тот, кто по-настоящему смотрел.

Теперь Клэй повел разговор в область, никак не связанную с нашим отцом.
– Это... – сказал он и обернулся, – покажешь, может, наконец, свои списки?
Она подобралась, но простила ему.
– Что за слова при мне. Будь джентльменом, черт побери.
– «Списки», говорю, не...

Она растаяла – всё, как заведено, как всякий раз на Окружности. И не важно, что конец субботы – наихудшее время просить подсказок на тотализатор, поскольку все крупные состязания проходят в субботу после обеда. Был еще один, не столь престижный, день скачек, в среду, но, как я сказал, вопрос был чисто ритуальным.

– Что там поговаривают в конюшнях?
Кэри уже почти улыбается, довольная игрой.
– Да-да, списки у меня есть, еще бы. Такие, что тебе не унести.
Ее пальцы коснулись его ключицы.
– Матадор в пятой скачке.

Клэй знал: как ни приятно ей это говорить, в глазах у нее почти стоят слезы, и он чуть крепче обнял ее, а Кэри, воспользовавшись этим движением, сползла чуть ниже и положила голову ему на грудь.

Его сердце понеслось галопом.
Клэй гадал, насколько это слышно Кэри.

У крыльца они разговорились. Кэри перешла к статистике.
– Сколько тебе лет?
– Считай, что пятнадцать.
– Да? А мне считай, что шестнадцать.
Она придвинулась поближе и чуть заметно кивнула на ту самую крышу.
– А сегодня что ж не там?

Клэй встрепенулся – она всегда его как бы подгоняла, но подгоняла так, что он совершенно не возражал.

– Мэтью велел пропустить денек. Он на меня за это все время орет.
– Мэтью?
– Ты его, скорее всего, видела. Самый старший. Все время говорит «Господи Иисусе!»
Теперь улыбнулся Клэй, и она не упустила своего шанса.
– Но зачем ты вообще туда лазишь?
– Ну, знаешь...
Он задумался, как лучше объяснить.
– Оттуда довольно далеко видно.
– Можно мне как-нибудь с тобой?

Его поразило, что она спрашивает, но тут он не удержался, чтобы поддразнить:

– Не знаю. Забраться не так-то легко.

Кэри засмеялась: она проглотила наживку.

– Не гони. Если ты забираешься, так и я смогу.

– Не гони?

Оба усмехнулись.

– Я не буду мешать, честно.

Но тут ей в голову пришла идея:

– Если ты меня тудапустишь, я принесу бинокль.

Казалось, она все просчитывает наперед.

Когда он бывал там с Кэри, Окружность иной раз как бы раздвигалась.

Домашний хлам торчал, будто далекие монументы.

Жилые кварталы, казалось, куда-то отступали.

В тот вечер после ее «списков» и Матадора в пятой скачке она монотонно заговорила о конюшнях. Он спросил, будет ли она в следующий раз участвовать в настоящих скачках, а не только работать на дорожке. Кэри ответила, что Макэндрю молчит, но знает, что делает. Если его донимать, это задержит ее еще на месяцы.

Конечно, все это время она лежала головой у него на груди или прижавшись к его шее: самый любимый из его любимых моментов. В Кэри Новак Клэй нашел человека, который знал его, который был им во всех, кроме одного, важнейших для жизни смыслах. Еще он знал, что, если бы только могла, Кэри все бы отдала, чтобы и этой разницы не осталось.

Причина, по которой он носил прищепку.

Она отдала бы свое жокейское ученичество или свой первый выигрыш в Первой группе, не говоря уже про участие в любых известных скачках. Не сомневаюсь, она отдала бы даже участие в скачках, что останавливают всю страну, или в тех, которые она любила даже больше: в Кокс Плейт.

Но не могла.

Однако, ни секунды не колеблясь, она смогла понять, как его проводить, и потихоньку она молила. Мягко, но деловито:

– Не уезжай, Клэй, не бросай меня... но поезжай.

Будь она персонажем гомеровского эпоса, звалась бы Зоркая Кэри Новак либо Кэри Новак Драгоценноокая. В этот раз она дала ему понять, как жестоко будет скучать, но и то, что она ожидает – или, вернее сказать, требует, – чтобы он исполнил должное.

Не уезжай, Клэй, не бросай меня... но поезжай.

В тот день, уходя, она вдруг спохватилась.

На середине Арчер-стрит девочка обернулась:

– Эй, а как тебя зовут?

Мальчик, стоя у крыльца:

– Клэй.

Молчание.

– Ну и? А как меня зовут, не хочешь спросить?

Но она говорила так, будто давно его знала, и Клэй опомнился и спросил, и девочка вновь подошла к нему.

– Кэри, – сказала она и уже пошла прочь, когда Клэй выкликнул вслед запоздалый вопрос:

– Эй, а как пишется?

Она торопливо подошла, взяла тарелку.

Пальцем тщательно вывела среди крошек свое имя, а затем смеялась, пока надпись не стала едва читаемой, – но они оба знали, что буквы никуда не делись.

Она еще раз улыбнулась ему, быстро, но ласково, и перешла через дорогу к себе.

Еще двадцать минут они лежали на матрасе, лежали молча, и Окружность вокруг них тоже молчала.

И вот что было едва ли не самым горьким.

Кэри Новак отодвинулась.

Села на краю матраса, но, когда поднялась, чтобы идти, вновь наклонилась к нему. Опустилась на колено возле ложа, там, где помедлила, придя, и теперь у нее в руках оказался пакет, что-то обернутое в газету; неторопливо она опустила его, положила Клэю под бок. Ничего не добавляя.

Никакого «Вот, это тебе».

Никакого «Возьми».

Никакого «Спасибо» от Клэя.

И лишь когда она скрылась, он сел, развернул пакет и заглянул внутрь.

Смерть на склоне дня

У Пенелопы все шло неплохо.

Годы текли и утекали.

Она давно покинула лагерь и жила в квартире на первом этаже на улице с названием Пеппер-стрит. Это название было ей по душе.

Работала она теперь не одна: со Стеллой, Мэрион и Линн.

Они работали то по двое, то так, по-разному составляя пары, убирали в разных районах города. Разумеется, она откладывала на подержанное пианино, терпеливо выжидая момента, когда сможет его купить. В своей квартирке на Пеппер-стрит она держала под кроватью коробку от обуви, куда складывала свернутые в трубочку банкноты.

Она совершенствовала свой английский, чувствуя, что растет с каждым днем. Ее надежда прочесть от корки до корки и «Илиаду», и «Одиссею» казалась все более осуществимой. Нередко она засиживалась далеко за полночь, со словарем под боком. Не раз и засыпала за этим занятием на кухне, смяв перекошенное лицо на теплых страницах: таков был ее каждодневный иммигрантский Эверест.

Как типично, вообще-то, и истинно. В конце концов, она же Пенелопа.

Перед ней замаячил успех, но тут между ними встал мир.

Похоже было на две эти книги, и верно.

Когда война вот-вот должна окончиться победой, вмешивается какой-нибудь бог. В нашем случае облитерация.

Принесли письмо.

Там сообщалось: он умер на улице.

Его тело нашли рядом со старой скамьей в парке. Пол-лица вроде бы было засыпано снегом, а рука, сжатая в кулак, застыла на сердце. Это не было патриотическим жестом.

Ей написали уже после похорон.

Негромкое событие. Умер.

Ее кухню в тот день заливало солнце, и выпавшее из рук письмо порхнуло, словно бумажный маятник. Скользнуло под холодильник, и Пенелопа, добывая его, минуту за минутой ползала на четвереньках, просовывая руку под и за.

Боже мой, Пенни.

Вот оно как.

Ты ползала там, коленям твердо и больно, позади тебя – захламленный стол. С туманом в глазах и горестной грудью, лицом прижавшись к полу – щекой и ухом, – твой тощий зад торчит кверху.

Слава богу, ты сделала то, что сделала после этого.

Нам нравилось то, что ты сделала после этого.

Мост Клэя

В тот вечер, когда Кэри ушла с Окружности и Клэй развернул пакет, было так.

Он осторожно оторвал липкую ленту.

Сложил конноспортивную страницу «Геральд» и сунул под ногу. И лишь тогда посмотрел на подарок – старинную деревянную шкатулку – и подержал в руках, рыжевато-коричневую и потертую. Шкатулка была размером с книгу, с ржавыми петлями и сломанным замочком.

Окружность была просторна и прозрачна.

Ни ветерка.

Невесомость.

Клэй поднял деревянную крышку, та скрипнула, как половица, и упала.

Внутри лежал еще один подарок.

Дар в дар.

И записка.

В другой ситуации Клэй сначала прочел бы записку, но, чтобы до нее добраться, пришлось вынуть зажигалку: оловянная «зиппо», размером со спичечную коробку.

Еще не успев подумать о ней, Клэй уже держал ее в руке.

И вертел.

Подкидывал в ладони.

Подивился ее тяжести, а когда перевернул, увидел их; он повел пальцем по словам, выгравированным на металлическом корпусе: «Матадор в пятой скачке».

Девочка, каких поискать.

Развернув записку, Клэй хотел было чиркнуть зажигалкой, чтобы подсветить, но лунный свет позволял разобрать буквы.

Ее почерк мелок и четок:

Дорогой Клэй,

Когда ты будешь это читать, мы все равно уже поговорим... но я хочу сказать, я знаю, что ты скоро уедешь, и я буду скучать по тебе. И уже скучаю.

Мэтью сказал мне о какой-то далекой местности и что ты там должен строить мост. Пытаюсь представить, из чего этот мост будет построен, но опять же, наверное, это и не важно. Хотела присвоить мысль себе, но не сомневаюсь, ты ее и так знаешь, прочел на обложке «Каменотеса»: «Все, что он когда-либо сотворил, сотворено не только из мрамора, или бронзы, или краски, но и из него самого... из всего, что было у него внутри».

Я точно знаю: этот мост будет построен из тебя.

Если ты не против, я пока подержу эту книжку – может быть, чтобы знать, что ты вернешься за ней, и вернешься тогда и на Окружность.

И немного про «зиппо»: говорят, не следует сжигать мостов, но я все равно тебе ее дарю, хотя бы на удачу и на память обо мне. Ну и зажигалка ведь в тему. Знаешь же, как говорят про глину, да? Конечно, знаешь.

С любовью,

Кэри.

P.S. Извини за состояние шкатулки, но мне почему-то подумалось, что тебе она понравится. Я решила, что оно не повредит: держать в ней какие-нибудь сокровища. Пусть их будет больше, чем одна прищепка.

2-й P.S. Надеюсь, тебе понравилась гравировка.

Ну что бы вы сделали?

Что сказали бы?

Клэй сидел, оцепенев, на матрасе.

Он спрашивал себя: а *что* говорят о глине?

Но очень скоро догадался.

Вообще-то, он понял это, еще не закончив вопроса, и еще долго оставался на Окружности. Снова и снова он перечитывал письмо.

Наконец, он вышел из оцепенения: лишь ради небольшой увесистой зажигалки – прижал ее к губам. В какой-то миг он почти улыбнулся: «Этот мост будет построен из тебя».

И не то чтобы Кэри делала большие дела или привлекала внимание, сразу вызывала любовь или хотя бы уважение. Нет, у Кэри были ее аккуратные движения, ее простодушная правдивость – и поэтому у нее, как всегда, получилось.

Она прибавила ему храбрости.

И дала название этой истории.

Грузчики

Лежа на полу в кухне, Пенелопа решила.

Отец хотел, чтобы она жила лучше, и вот что она сделает.

Отбросит застенчивость и деликатность.

Вынет коробку из-под кровати.

Достанет деньги и зажмет в кулаке.

Набьет карманы и двинется к железной дороге – все время вспоминая письмо и Вену:
«У тебя будет другая жизнь».

Да, будет, и сегодня она в нее войдет.

Bez wahanía¹⁷.

Не откладывая.

У нее в голове уже была карта всех музыкальных магазинов.

Она уже побывала в каждом, знала их адреса, цены в них и где как рубят фишку. Один особенно манил вернуться. Во-первых, цены: только там они были ей по плечу. Но, кроме того, ей нравился тамошний беспорядок – кучи нот, запыленный бюст Бетховена, угрюмо взиравший из угла, и продавец, сгорбившийся за прилавком. Остролицый живчик, он почти непрерывно поедал резанные на дольки апельсины. И кричал из-за своей тугоухости.

– Пианино? – заорал он в первый раз, когда она пришла.

Метнул в корзину апельсиновую корку, промахнулся. («Тьфу ты, с двух шагов!») При всей своей глухоте он уловил акцент.

– Зачем туристке вроде вас пианино? Оно хуже свинцовой гири на шее!

Поднявшись, он протянул руку к ближайшей губной гармошке.

– Хрупкой девушке вроде вас нужно вот что. Двадцать баксов.

Открыв футляр, он побежал пальцами по отверстиям гармошки. Может быть, этим он хотел сказать, что на пианино у нее не хватит денег?

– Ее можно возить с собой повсюду.

– Но я никуда не еду.

Старик сменил галс.

– Конечно, конечно.

Он лизнул пальцы и чуть расправил плечи.

– Сколько у вас есть?

– Пока не так много. Думаю, триста долларов.

Он рассмеялся сквозь кашель.

Ошметки апельсиновой мякоти брызнули на прилавок.

– Ну-у, милая, и не мечтай. Если хочешь хорошее пианино, ну хотя бы мало-мальски приличное, приходи, когда соберешь штуку.

– Штуку?

– Тысячу.

– О. А можно поиграть?

– Конечно.

Но до сих пор она так и не играла ни на каких пианино, ни в этом магазине, ни в других. Если нужна тысяча долларов, значит, она накопит тысячу, и лишь тогда выберет инструмент, поиграет и купит его: все в один день.

И этим днем, как оказалось, стал нынешний.

¹⁷ Без задержки (польск.).

Пусть даже ей не хватает пятидесяти трех долларов.

С оттопыренными карманами она зашла в магазин.

Хозяин просиял:

– Ага, пришла.

– Да.

Она тяжело дышала. Насквозь вспотела.

– Нашла тысячу?

– У меня...

Пенелопа вынула банкноты.

– Девятьсот... сорок семь.

– Да, но...

Пенни шлепнула ладонями о прилавок, оставив в пыли отпечатки пятерней, пальцы и ладони стали липкими. Ее лицо оказалось на одном уровне с лицом старика; лопатки едва не вывихнулись.

– Прошу вас. Сегодня мне нужно поиграть. Я отдам остаток с первых же денег – но сегодня мне обязательно нужно его попробовать, прошу.

Впервые хозяин не таранил ее своей улыбкой: его губы раздвинулись лишь для слов.

– Ладно, ладно.

Он указал рукой, одновременно двинувшись с места.

– Идем.

Конечно, он подвел ее к самому дешевому пианино; это был неплохой инструмент орехового цвета.

Она опустилась на табурет; подняла крышку.

Посмотрела на дорожку клавиш.

Некоторые были щербатыми, но сквозь бреши в своем отчаянии Пенни уже влюбилась, хотя пианино еще не издало ни звука.

– Ну?

Она завороченно обернулась, а душа ее теряла равновесие: она вновь стала Деньрожденницей.

– Ну что ж, давай.

И она кивнула.

Глядя на пианино, она вспомнила свою прежнюю страну. Отца и его руки у себя на спине. Она взлетала в небо, высоко в небо – и статуя позади качелей; Пенелопа играла и плакала. Несмотря на столь долгую инструментальную засуху, играла она прекрасно (ноктюрн Шопена) и чувствовала на губах вкус слез. Она втягивала их носом, засасывала и сыграла все верно, нота в ноту.

Девочка-сбивашка не сбилась ни разу.

А рядом пахло апельсинами.

– Ясно, – сказал старик. – Ясно.

Он стоял рядом, справа от нее.

– Кажется, я тебя понимаю.

Он продал ей пианино за девятьсот долларов и сам организовал доставку.

Да только вот беда: у продавца пианино была не только катастрофическая глухота и беспорядок в магазине, почерк его тоже приводил в ужас. Будь он хоть на йоту более разборчивым, ни меня, ни моих братьев никогда бы не существовало: вместо Пеппер-стрит, 3/7 он прочел в собственной записке 37, куда и отправил грузчиков.

Это их, как вы можете себе представить, разозлило.

Была суббота.

Через три дня после покупки.

Пока один из них стучал в дверь, двое стали выгружать пианино. Они сняли его с грузовика и поставили на тротуар. Старший поговорил на крыльце с хозяином, а потом заорал:

– Эй, вы что там творите?

– Что?

– Это не тот дом!

Он зашел в дом, чтобы позвонить, а спускаясь с крыльца, что-то бубнил себе под нос.

– Ну идиот, – сказал он. – Мудак апельсиновый.

– Что такое?

– Это квартира. Номер три. Дальше по улице, дом семь.

– Но, погоди. Там нет стоянки.

– Значит, станем посреди дороги.

– Жильцы не одобряют.

– Тебя не одобряют.

– Ты это к чему?

Старший пожевал губами, изобразив несколько фигур неодобрения.

– Ладно, я туда схожу. А вы достаньте тележку. Если пианино катить по дороге, колеса уьём, а тогда и нас уьют. Я пойду постучусь. А то чего доброго докатим, а дома никого.

– Хорошая мысль.

– Да, хорошая. А вы пока не притрагивайтесь к этому пианино, ясно?

– Ладно.

– Пока не скажу.

– Ладно!

Пока их старшего не было, двое грузчиков разглядывали человека на крыльце: того, что не захотел принять пианино.

– Как дела? – окликнул он их.

– Замаялись.

– Не хотите хлопнуть?

– Не-е. Боссу вряд ли понравится.

Мужчина на крыльце был среднего роста, с волнистыми волосами, синими глазами и исколоченным сердцем – а когда вернулся начальник грузчиков, вместе с ним в середине Пеппер-стрит объявилась тихая женщина с бледным лицом и загорелыми руками.

– Вот так, – сказал мужчина: он спустился с крыльца, пока пианино грузили на тележку.

– Я придержу вот здесь, если вы не против.

Вот так в субботу днем четверо мужчин и одна женщина катили пианино орехового дерева довольно далеко по Пеппер-стрит. Противоположные углы катившегося пианино поддерживали Пенелопа Лещушко и Майкл Данбар – и Пенелопа не могла и догадываться. Она отметила про себя, как его забавляют грузчики и как он переживает за сохранность пианино, но все же ей неоткуда было знать, что этот прилив понесет ее до конца жизни, к последней фамилии и прозвищу.

Как она сказала однажды Клэю, рассказывая об этом:

– Странно подумать, но за этого мужчину я однажды выйду замуж.

Последний салют

Как вы можете себе представить, в доме мальчиков и молодых мужчин то, что один из нас уезжает, особо не обсуждалось. Уезжает, и все.

Томми знал.

И мул знал.

Клэй опять остался ночевать на Окружности, а воскресным утром проснулся, так и сжимая в руках коробку с подарком.

Он сел и перечел письмо.

Взял зажигалку и *Матадора в пятой*.

Он принес коробку домой, вложил в нее склеенный скотчем адрес Убийцы, сунул поглубже под кровать, затем на ковре не спеша взялся качать пресс.

Где-то на половине отсчета появился Томми: Клэй видел его боковым зрением с каждым подъемом торса. Голубь Ти сидел у него на плече, а ветерок трепал плакаты Генри. Это были в основном музыканты: старые. И несколько юных и женственных актрис.

– Клэй?

Каждый раз Томми треугольником влетал в поле зрения.

– Можешь потом помочь с копытами?

Закончив, Клэй вышел во двор. Ахиллес пасся возле сушильного столба. Подойдя, Клэй подал мулу на ладони кубик сахара, затем наклонился и похлопал по ноге.

Ахиллес задрал первое копыто: все нормально.

Второе.

Когда они покончили со всеми четырьмя, Томми, как обычно, расстроился, но тут уж Клэй ничего поделать не мог. Невозможно переубедить мула.

Чтобы его ободрить, Клэй вынул еще два куска сахара.

Один подал Томми.

Двор заполняло утро.

На крыльце растеклось пустое кресло-мешок: оно сползло с дивана. В траве валялся велик без руля, бельевые веревки в вышине освещались солнцем.

Вскоре из загона, который мы соорудили на заднем дворе для Ахиллеса, появилась Роза. Подбежав к столбу, принялась бегать вокруг, а сахар таял у пацанов на языках.

Когда почти дотаял, Томми не смолчал:

– Кто мне будет помогать с копытами, если ты уедешь?

В ответ Клэй сделал такое, что даже его самого удивило: схватив Томми сзади за ворот футболки, закинул верхом на Ахиллеса.

– Черт!

Томми сначала оторопел, но тут же принял игру; прижавшись к шее Ахиллеса, он рассмеялся.

После обеда, едва Клэй шагнул было за порог дома, его остановил Генри.

– И куда это мы намылились?

Короткая пауза.

– На кладбище. Может, в Бернборо.

– погоди, – сказал Генри, хватая ключи. – Я с тобой.

На кладбище они, перевесившись через ограду, наметили путь по могилам. У той, куда шли, они наклонялись, они смотрели, стояли, сложив руки на груди в предвечернем солнце; разглядывали трупки тюльпанов.

– Ромашек нет?

Почти посмеялись.

– Эй, Клэй.

Оба сутулились, но не расслабленно, Клэй обернулся к Генри: тот был, как всегда, приветлив, но в то же время какой-то необычный, будто высматривал что-то за могильными изваяниями.

Сначала он сказал только:

– Боже мой.

И надолго замолчал.

– Боже мой, Клэй.

Потом что-то вынул из кармана.

– На.

Из руки в руку.

Приятно пухлый денежный ломоть.

– Возьми.

Клэй посмотрел вопросительно.

– Это твои, Клэй. Помнишь тотализатор на Бернборо? Ты не согласишься, сколько мы там поднимали. А я ж тебе ни разу не платил.

Но нет, там было больше, там было чересчур, пресс-папье из банкнот.

– Генри...

– Ну, бери.

Тот взял – и покачал денежный блокнот на ладони.

– Эй, – окликнул Генри. – Эй, Клэй. – И тот посмотрел ему прямо в глаза.

– Может, купишь уже сраный телефон, как все нормальные люди – дашь нам знать, когда будешь на месте.

А Клэй с улыбкой, презрительно:

– Нет, Генри, спасибо.

– Ну ладно, тогда все до цента потратить на хренов мост.

Хитрейшая из мальчишечьих ухмылок.

– Только сдачу верни, как построишь.

В Бернборо-парке он пробежал несколько кругов, а обогнув останки метательного сектора, наткнулся на милый сюрприз – там, на отметке триста метров, зависал Рори.

Клэй застыл, схватив себя над коленями.

Рори глядел, глаза как свалка металлолома.

Клэй не поднимал глаз, но улыбался.

Ничуть не злой и не обиженный Рори был что-то между предвкушением грядущего избиения и полным пониманием. Он заметил:

– Надо признать, ты молоток, малыш, – не зассал.

Клэй выпрямился и, пока Рори приближался к нему, молчал.

– Уедешь ты на три года или на три дня... Ты же знаешь, что Мэтью тебя убьет, так? Когда вернешься.

Кивок.

– И будешь готов?

– Нет.

– А хочешь подготовиться?

Он немного подумал.

– А то, может, ты и вообще не вернешься.

Клэй внутренне ошетинился.

– Вернусь. А то мне будет не хватать наших с тобой танцулек.

Рори ослабился.

– Ага, умница. Слушай...

Он уже потирал ладони.

– Может, потренируешься? По-твоему, я здесь тебя ломал? Но с Мэтью это ни в какое сравнение...

– Это ничего.

– Ты не прстоишь и пятнадцати секунд.

– Я умею держаться.

Рори, еще на шаг ближе.

– Это я знаю, но я тебя могу научить хотя бы, как продержаться подольше.

Клэй уперся взглядом прямо ему в кадык.

– Не трудись, уже поздно. – И Рори лучше, чем кто-либо, понимал, что Клэй уже готов: для этого он уже не один год тренировался, и я мог убивать его любыми способами.

Клэй нипочем не умрет.

Вернувшись домой с пачкой денег в руке, он застал меня за просмотром кино, первого «Безумного Макса», – вполне уместный мрачняк. Сначала со мной сидел Томми и упрашивал включить что-нибудь другое.

– Можно хоть раз посмотреть кино, снятое не в восьмидесятых?

– Мы и смотрим. Это семьдесят девятый.

– Вот и я про то же! Восьмидесятые или еще древнее. Никто из нас еще не родился. Даже не близко! Ну почему нельзя...

– Ты знаешь почему, – оборвал его я.

Но тут я заметил, что у него такой вид, будто он может разреветься.

– ...черт, Томми, я не хотел.

– Хотел.

И он был прав: я хотел. Это тоже значит быть Данбаром.

Томми ушел прочь, а Клэй вошел; деньги уже убраны в деревянный ларец. Подошел к дивану, сел.

– Как оно? – сказал он, глядя на меня, но я не оторвал глаз от экрана.

– Адрес не потерял?

Он кивнул, и мы продолжили смотреть «Безумного Макса».

– Опять восьмидесятые?

– Не начинай.

Мы молча смотрели до момента, когда страшный главарь бандитов говорит: «Кундалини хочет вернуть свою руку!», и тут я посмотрел на брата, сидевшего рядом.

– Чувак не шутит, – заметил я. – Правда?

Клэй улыбнулся, но не откликнулся.

Как и мы.

Ночью, когда остальные уже легли спать, он оставался на ногах, сидел при включенном телевизоре со скрученным звуком. Смотрел на золотую рыбку Агамемнона, который отвечал ему бесстрастным взглядом, а потом напоследок как следует боднул стенку аквариума.

Клэй шагнул к птичьей клетке и внезапно, без предупреждения, схватил голубя. Сжал в ладонях, но бережно.

– Что, Ти, как дела?

Голубь потряс головой, и Клэй чувствовал, как тот дышит. Чувствовал сквозь оперение стук сердца.

– Сиди смирно, малыш. – И проворно, в мгновение ока Клэй дернул из его шеи перо: малюсенькое перышко – чистое, серое с прозеленью по краю – оказалось на неподвижной левой ладони Клэя.

После этого он сунул голубя обратно в клетку.

Ти сурово посмотрел на него, затем прошелся по клетке из угла в угол.

Затем стеллаж, полка с настольными играми: карьеры, скрэббл, соедини-по-четыре.

А ниже та, что он хотел.

Он раскрыл коробку, но тут на секунду его отвлек фильм на экране телевизора. Показался интересным – черно-белый, девушка спорит с мужчиной в пивнушке, но потом – к сокровищам «Монополии». Он нашел кубик, отели, потом наконец сумку, которую искал, и следом в его пальцах – утюжок.

Клэй, улыбака, улыбался.

* * *

Поближе к полуночи все оказалось проще, чем могло быть: во дворе, храни господь хлопчатобумажные носки Томми, ни собачьего, ни муловьего дерьма.

Скоро Клэй стоял под вешалами, прищепки над головой висели рядами перетекающих цветов. Он потянулся и осторожно отцепил одну. Когда-то она была ярко-синей, теперь выцвела.

Он опустился на колено у столба.

Конечно, прибежала Роза, и Ахиллес, со всеми своими ногами и копытами, стоял и смотрел. Грива у него была вычесанная, но спутанная, и Клэй потянулся, наклонился – ладонью по щетке.

Потом он взял Роза, медленно-медленно, за черно-белую лапу.

Золото в ее глазах, для него на прощание.

Он любил этот собачий взгляд искоса.

Потом пустился дальше, на Окружность.

Там он тоже не стал особо задерживаться: он уже уехал, поэтому не стал снимать с кровати пленку. Нет, он только простился и пообещал вернуться, вот и все.

Дома, в их с Генри комнате, он заглянул в ларец: прищепка стала последним сокровищем. В темноте он увидел все содержимое, перо, утюжок, деньги, прищепку и склеенный адрес Убийцы. И, конечно, оловянную зажигалку, с гравировкой ему от нее.

Решив не спать, он зажег лампу. Переуложил чемодан. Читал взятые в дорогу книги, и часы несли его.

Едва миновала половина четвертого. Клэй знал, что Кэри скоро выйдет.

Он поднялся, сунул книги обратно в сумку, взял в руку зажигалку. В коридоре он вновь почувствовал буквы, неглубоко врезанные в металл.

Бесшумно отворил дверь.

Остановился на крыльце у перил.

Эпохи назад мы здесь стояли с ним. Ультиматум у порога.

Вскоре появилась Кэри Новак, с рюкзаком за плечами и горным великом у бедра.

Сначала он увидел колесо: спицы.

Потом девушку.

Волосы распущены, шаг поспешен.

Джинсы. Всегдашняя фланелевая рубаша.

Первым делом взгляд ее устремился на противоположную сторону улицы; увидев Клэя, она опустила велик на землю. Тот остался лежать, опираясь на педаль, заднее колесо стрекотало, а девочка не спеша пошла через дорогу. Остановилась точно посреди улицы.

– Эй, – окликнула она. – Понравилось?

Она говорила вполголоса, но слова прозвучали как крик. Своего рода счастливый вызов.

Неподвижность предрассветной Арчер-стрит.

Что до Клэя, то он много чего хотел сказать, сообщить, чтобы она знала, но выговорил только одно слово:

– Матадор.

Даже с этого расстояния ему были видны ее не вполне белые и не вполне ровные зубы, когда улыбка Кэри распахнула улицу; наконец она вскинула руку, и ее лицо показалось ему чем-то незнакомым – растерянным, не находящим слов.

Она ушла, но все шла и смотрела на него, затем оглянулась еще на миг.

Счастливо, Клэй.

И лишь когда в его мыслях она уже далеко ушла по Посейдон-роуд, он вновь посмотрел в ладонь, где темнела зажигалка. Не спеша поднял крышку, и тотчас выскочил язычок пламени.

Вот так и было.

В темноте он подошел к каждому из нас: от меня, вытянувшегося на кровати, до Генри, ухмылявшегося во сне, до Томми и несуразного Рори. Как добрый (по отношению к ним обоим) жест на прощание, он снял с груди Рори Гектора и повесил себе через плечо, будто добавочную поклажу. На крыльце он спустил кота вниз; серый мурчал, но и он знал, что Клэй уезжает.

Ну?

Сначала город, потом мул, а теперь кот – только они и говорили.

А может, и нет.

– Пока, Гектор.

Но он еще не уходил, еще медлил.

Нет, еще долго – по меньшей мере, несколько минут – он ждал, пока на улицу придет рассвет, и, когда рассвет наступил, он был золотым и великолепным. Он карабкался по крышам Арчер-стрит, и с ним поднимался прилив, который нес в себе все.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.